

A detailed portrait of Tsar Vladislav of Russia, depicted from the chest up. He has a full dark beard and mustache, and is wearing a blue and gold patterned crown with a fur trim. His garment is a white robe with a wide, ornate blue and gold collar and a large gold cross on the chest. He holds a golden scepter topped with a double-headed eagle in his right hand. The background features a golden curtain on the left and a blue sky with a cross on the right. The entire image is framed by a golden border.

Владислав БАХРЕВСКИЙ

ТИШАЙШИЙ

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ

Владислав Бахревский
Тишайший (сборник)

«АСТ»

Бахревский В. А.

Тишайший (сборник) / В. А. Бахревский — «АСТ»,

В книгу известного современного писателя-историка В. Бахревского вошли романы, повествующие о временах правления российского царя Алексея Михайловича. «Тишайший» рассказывает о становлении как правителя второго царя из династии Романовых. «Сполошный колокол» посвящен одному из наиболее значительных событий XVII века – Псковскому восстанию 1650 года.

© Бахревский В. А.

© АСТ

Содержание

Тишайший	6
Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	15
Глава третья	22
Глава четвертая	28
Глава пятая	42
Глава шестая	49
Глава седьмая	61
Глава восьмая	76
Глава девятая	80
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Владислав Бахревский

Тишайший (сборник)

© Бахревский В. А., 1984

© ООО «Издательство Астрель», 2007

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Тишайший

Часть первая

Глава первая

1

Будто под коленки стукнули – рухнул Никита Иванович Романов на лавку, и лицо его, уж такое широкое, в единый миг все, от луковки носа до репки подбородка, стало мокрым от слез.

Черный вестник, боярин Борис Иванович Морозов, изумился обилию мокроты и, не в силах выжать из сухих своих глаз росинки, подвыл вдогонку. Романов, глядя на него утонувшими в слезах глазами, как от дурной водки передернулся.

– Никита Иваныч, тебе в Кремль спешить бы!

– Ты-то чего тут?! Ты-то чего хлопчешь?! – Романов от ярости и горя вскочил, зашатался, кафтанчик немецкий, зелененький, как из болотца, затрещал под мышками. – Постыдись, боярин, дела! Человек ведь помер.

– Почивший государь, царство ему небесное, – Морозов чуть всхлипнул, но дальше вел, словно орехи грыз, – миленький наш царь Михаил Федорович не оставил завещания. Среди нынешнего боярства есть такие лихоимцы, которые могут сказать: Земский собор 1613 года избирал на престол Михаила Романова, но не династию Романовых. Как бы не сыскались охотники новых выборов. И мне ничего не ведомо, что делает и где он теперь, князь Семен Шаховской.

– Семен-то? – отирая лицо ладонями, задумался притихший Никита Иванович. – Семен небось при датском королевиче, где же еще?

– А не позабыл ли ты, Никита Иванович, царских обещаний принцу Вальдемару? Вместе с рукою царевны Ирины Михайловны царь Михаил Федорович на вечные времена жаловал датчанину Ярославль и Суздаль. А в другой раз – Новгород и Псков. То ли – «или – или», то ли – «то и это». А также есть многие, коим запали в сердце мятежные слова архимандрита Хутынского монастыря Феодорита: «Бог ведает, прямой ли царевич Алексей, не подметный ли».

– Шубу! Дьявол ты, Борис Иванович! Поплакать не дал, дьявол! Шубу! Санки! В Кремль!

– Я прошу тебя быть в русском платье, – твердо сказал Морозов, – теперь все глядят, все слушают. Спеши, Никита Иванович. А я еще похлопочу о счастье моего воспитанника. За Стрешневыми помчусь, за Шереметевыми, за Одоевскими... В армию, к воеводе Якову Куденетовичу Черкасскому, я уже послал человека присягу принимать. Якову Куденетовичу обещано боярство, минуя чин окольничего.

– Ныне вся поместная армия у Черкасского под рукой. Если татары и турки пойдут на Москву, князь Черкасский упредит их ударом. Стольник достоин боярства.

Морозов и Романов говорили одно, думали о другом и вполне понимали друг друга.

Наследник Алексей Михайлович был в Тереме, у матери Евдокии Лукьяновны. Сидел на полу, упершись ногами в изразцовую холодную печь, положив голову на материнские, колени.

Июльская душная ночь давила на грудь, но в покоях матери гулял тихий ветер, шевелил черные полотнища на завешенных зеркалах.

Евдокия Лукьяновна, зайдясь от горя, подурев, все перепутав, баюкала надежду свою, сыночка своего, будто он в зыбке лежал.

Под памятно-пронзительную ласку Алексей Михайлович забылся. Он и не спал вроде, но никакой воли теперь в нем не было. По щеке ползла, холодила не его слеза, мамина, но и она не мешала ему. Мама наконец вернулась. Она никуда не уезжала. Они жили бок о бок, но как взяли его в семь лет на мужскую половину, ни разу не взъерошила ему мягонькие волосы родная рука, не поскребла ноготком в затылке. Целовала мама, христосуясь, раз в году, рядом стояла на молебнах. Теперь они были вместе, как много лет тому, как девять лет назад. И слава тебе, Господи! Хотя в горе, но соединились их любящие сердца: сыновнее, стыдливое до материнских ласк, и материнское, все терпящее.

Он про то не думал, но знал – эта горькая ласка прощальная. Не будет, может, в следующий миг уже мамы, будет царица-регентша, не будет мальчика – будет царь. А может, и ничего не будет. Придут и убьют.

Не страшно ему было знать, что вот придут и убьют. Слабых на царстве убивают, а бегать царям от слуг негоже.

Кто-то знает про то, сколько силы теперь за ними стоит: за царицей, за наследником, за всем выводком почившего государя. Сами они не знают, ничего не знают.

Мерно, не давая покоя городу, надрывали ночь колокола. Ночь никак не могла охладить воздуха. В покоях царя Михаила духота. Трещали свечи, рыдали где-то в дальних комнатах, в верхнем этаже и в нижнем. Шестнадцатилетний новый царь стоял под образами в парадном облачении цесаревича – скромничал, стоял без устали, который час уже, – принимал присягу. Мать сидела на месте отца, белая, холодная, неживая, а сын жил. Тоже белый, натянутый, как тетива, но глаза его спрашивали каждого: добрый ли ты человек, по сердцу или по умыслу присягаешь мне?

Алексей Михайлович не садился, стульчик цесаревича за одну ночь стал ему маловат. Всю ночь стоял, всю ночь шли под его руку бояре, окольные, думные люди. Первым поклонился царю-мальчику Никита Иванович Романов, двоюродный дядя, чина небольшого – стольник, но любимец всей Москвы. В первые часы ночи не торопились с присягой, кап да кап, потом – ручейком потекли, а под утро вся Москва кинулась к Успенскому собору принести присягу молодому царю да его благочестивой матушке, царице Евдокии.

2

Хлопотал Борис Иванович Морозов, как птица над гнездом хлопотал. Господи, как же он всю жизнь завидовал правителям: Борису Ивановичу Черкасскому, Федору Ивановичу Шереметеву. Все Московское царство жило по их слову, по их уму. Были вельможи речистее, были деловитее, умнее гораздо, но кто из русских перечит царю? А прежний царь повторял слово в слово за Черкасским да за Шереметевым.

Свершилось! Алексею свет Михайловичу говорить словами Морозова, только не поспешить бы. Сразу-то на дыбы встанешь – голову отобьют. Чтоб землю из-под ног совсем не упустить, на четырех пока стоять нужно. Ничего, что поза неказиста. Борису Ивановичу пятьдесят шестой год, научили терпеть и ждать. Четверть века часа своего звездного ждал! Так ведь проще было! Ныне, когда вся Москва на поклон спешит, день – за год. Геенна огненная, а не жизнь.

Мимо приказов к нему идут, он слушает, но ничего не решает. Тихоней прикидывается, и все знают, что прикидывается. Он и не скрывает, что прикидывается, но власть пока что у старых слуг, у людей царя Михаила. Может, и не власть уже, но чины все у них.

Федор Иванович Шереметев – судья Стрелецкого приказа: войска у него; он же судья приказа Большой казны – деньги у него, у него Аптекарский приказ, а в приказе ведают царским здоровьем.

Во Владимирском Судном приказе сидит Иван Петрович Шереметев. В приказе творят суд над боярами, окольными, думными дворянами. В Разбойном приказе опять Шереметев, Василий Петрович.

Казанский дворец и Сибирский приказ у зятя Федора Ивановича, у Никиты Одоевского.

Все в родстве с Романовыми и между собой. Потому и не спешил Борис Иванович Морозов.

Правда, через неделю после смерти царя Михаила у приболевшего Федора Ивановича Шереметева, чтоб силы он свои драгоценные не распылял на малое, взяли Аптекарский приказ. Взяли, но никому не отдали: пусть до поры дьяки хозяйство ведут. Себе Борис Иванович ухватил невидный Иноземный приказ. Здесь ведали наемными офицерами. Сила небольшая, но команды слушает и тотчас исполняет.

Хлопотал Борис Иванович! Строил гнездо со всех сторон сразу, соломинку за соломинкой, но всегда у него было главное дело.

Пора было избавиться от датского принца Вальдемара!

Царь Алексей Михайлович первые недели своего царствия молился. По монастырям московским ходил, к мощам прикладывался. Первого августа, на праздник Происхождения Честного и Животворящего Креста, в кремлевской Благовещенской церкви к нему подошла сестра Ирина. Зареванная. Прошептала:

– Государь, братец, не погуби моей жизни!

– Ирина, зачем говоришь такое, голубушка?

А самому впору бы спрятаться где. Удел московских царевен – прощения у Бога просить. За что вот только? Европа не торопилась родниться с русскими царями, а как выискался шустрый датский принц, опять незадача: крещен, да не по-нашему. Отдать православную царевну за еретика – не токмо ее душу, но и свою ввергнуть в грех неискупимый. Принц жил в России уже год, а вопрос никак не могли разрешить. И уж собирался было Михаил Федорович – ради дочери, да и ради государства – закрыть глаза на подпорченную веру будущего зятя, но Господь Бог не дал ему согрешить, прибрал. Однако вокруг принца составила боярская партия, и, дабы смуты новой не породить, Борис Иванович, не дожидаясь, пока вся власть перельется из сосуда Шереметева в его сосуд, от имени нового царя щедро наградил Вальдемара, и осталось только выпроводить зажившегося гостя.

Ирина как увидела, что братец от нее бежать готов, на колени перед ним пала:

– Смилуйся, государь!

– Но что же я могу поделать? – прошептал Алексей Михайлович. – Молод я! Никто меня слушать не станет. Помолись, Ирина! Помолись! И я с тобой помолюсь.

Он опустился на колени рядом с сестрой и заплакал.

В те дни вся женская половина Большого дворца ревмя ревела, а Евдокия Лукьяновна слегла.

Тринадцатого августа Вальдемара отпустили. Принимал его царь в Золотой палате, одарил соболями, золотом, дал ему для бережения, до границы, – не дай Бог назад поворотит – полторы тысячи детей боярских под командой боярина Василия Петровича Шереметева. Тут бы и дух перевести, но восемнадцатого августа, не осилив горьких дум о судьбе дочерей: об Ирине, Анне, Татьяне, царица Евдокия Лукьяновна преставилась.

Осиротел шестнадцатилетний самодержец, припал к Борису Ивановичу Морозову. Один он остался у него своим. А Борису Ивановичу в няньках сидеть времени нет. У государства норов неверный, отпустишь вожжи на день – год будешь плакаться: в сторону умчит, а то и всю повозку расшибет вдребезги.

Молодой царь в молитве усердствовал, и нашел ему Борис Иванович для бесед умильных чистой души своего человека, протопопа Благовещенской церкви Стефана Вонифатьевича. И стал протопоп вскоре духовником царя.

3

Сквозь родниковый хлад синего дня родниковыми пузырьками пробивалась ласка солнца. Трава вдоль дороги была зелена, только блеск с нее сошел, веселый весенний блеск, а по деревьям и вовсе, прихватив где вершину, где ветку или только листок, взгрывала осень.

Дорога петляла лесом, с бугорка в низину, с низины на бугорок. И шли по этой дороге слепцы. Двенадцать слепцов с поводырем мальчиком.

– Грибами-то как пахнет, – сказал старец Харитон, рука которого лежала на плече мальчика. – Слышь, Саввушка, как грибами-то пахнет?

– Да как же им не пахнуть! Вон оне. Рядком и кругами по краю леса.

– Ты небось нас бросил и побежал бы за грибами-то?

– Я бы и бросил, да куда они, грибы, теперь? Если бы дома...

– Глупый ты, Саввушка. – Харитон в величайшем удивлении задрал бороденку. – Ведь коли тебе говорят, побежал бы ты за грибами, бросил бы слепеньких, значит, пытаются верность твою, твой умишко... А ты – побежал бы!

– Дак я и побежал бы, коли бы дома, а коли матушка продала меня вам за два рубля без копейки...

– Не было у нас тогда копейки! – осердился Харитон. – Эко ведь – продала! Мы божеское дело содеяли. Братишек-сестричек твоих выкармливать-то надо. Один рот долой – все облегчение. И нас возьми – куда мы без очей, без твоих ясных очей?

– Стой! – крикнул птичьим резким голосом двенадцатый слепец. – Слышу, скажут.

Остановились.

– Скажут, – согласился старец Харитон. – На шестерке лошадей скажут. Веди, Саввушка, на пригористое открытое место, чтоб с дороги нас видать было, а плетью чтоб достать не смогли.

Сели на остывающую осеннюю землю, на подсохший колючий мох. Промчался в клубах пыли большой боярин. На шестерке лошадей. За боярином, поотстав на полверсты, проскакала сотня рейтар, рыская по обочинам дороги.

– Сидеть! – крикнули слепцам.

За рейтарами в тарахтящих телегах прокатили, растрясая жирок, московские стрельцы. Телег было десять.

– Эй! – Стрельцы показали слепой братии бердыши. – Эй!

– Царь к Троице едет! – сказал Харитон. – Петушок наш молоденький!

Но царь все не ехал, и Саввушка заерзал было, завертелся, но тут на дороге появились люди.

– Пешие! – сказал Саввушка.

– Кто первым идет? – спросил Харитон.

– Парень!

– Хе! – закрутил высоко поднятой бородой, заулыбался солнышку Харитон. – Гляди на того парня шибче да поклонись ему, как проходить будет, ниже.

– Неужто парень-то сам батюшка царь? – на весь лес, ясно, звонко удивился Саввушка.

– Ш-ш-ш! – Слепец Харитон ущипнул мальчика пониже шеи, с вывертом, со злобой, как гусак. И заорать не дал: ладонью крик придушил. Сквозь слезы плохо видать, а царь вот он. Ходко идет, размахисто. За ним, чуть поотстав, рынды, монахи, всякая служка.

Увидал царь слепцов, остановился. На обочину шагнул:

– Ты чего, поводырь, плачешь?

– От счастья тебя зреть, государь-батюшка! – проворно воскликнул слепец Харитон. – За всю нашу братию глядит отрок. За всех и плачет!

Алексей Михайлович, краснощекий от ходьбы, от бодрого воздуха, от молодости, повел рукой, и ему тотчас вложили в руку кошель с деньгами.

– Помолитесь, старцы, за упокой души моей матушки, а вашей царицы, за Евдокию. Молитва увечных да скорбящих скорее до Господа дойдет, ибо Господь всегда с вами!

Щедрой рукой насыпал серебряных чешуек – денежек – в шапку старца Харитона.

– А это тебе, отрок. За слезы твои. – И дал Саввушке ефимок. Пошел было, но обернулся: – Как зовут, поводырь?

Савве бы на колени пасть, а он, наоборот, вскочил:

– Саввой!

– Береги, Савва, мое подаяние, а коли кто отнять посмеет, приходи ко мне – Господь даст, найдем на отымальщика управу.

– Ладно! – закивал головой Саввушка.

Старец Харитон прошипел что-то, но в следующий миг взвился ангельским голосом: «Господи, помилуй!»

– Господи, помилуй! – запели слепцы, разойдясь на голоса.

Царь, удивленный красотой неслыханного пения – привык к унисону, – опять остановился:

– Где так петь учились?

– В Малороссии.

– Если к Троице идете, сыщите меня. Послушать вас хочу.

Царь пошел своей дорогой, а слепцы, поднявшись с земли, пели ему вослед. Лес перекашивал дивное эхо. Царь на ходу руками утирал хлынувшие слезы – легкие, обильные, вырывающиеся из души камень горя.

4

Как помер царь Михаил, дня не было, чтоб дом боярина Бориса Ивановича Морозова – без гостей.

Приезжали помянуть царя и царицу, привозили хозяину дома подношения: серебряные кубки, братины, шубы – соболя, рысьи, беличьи; сабли и ружья с чеканкой, в камнях дорожных, расшитые жемчугом пелены, кресты и зеркала. Гостя за дверь не выставишь. От скорби немочный – пошатывало, – Борис Иванович принимал всех, и подарки тоже принимал.

Наконец-то пробилась к нему и родственники, Леонтий Стефанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов. Петр Тихонович приходился Борису Ивановичу зятем, а Леонтий Стефанович был зятем Петра Тихоновича.

– По бедности нашей двумя дворами один подарок едва осилили, – пожаловался Петр Тихонович, поднося с поклоном Борису Ивановичу святое Евангелие в золотом окладе с изумрудами.

Глаза Бориса Ивановича сверкнули ответной лаской. Такой оклад двух деревенок стоит. Ничего не сказал, подарок принял, поставил под образа, положил гостям руки свои маленькие, мягонькие на плечи, усадил за стол и перестал быть болящим.

– Поговорим, ребятки. Есть о чем поговорить.

Хлопнул в ладоши, велел подавать пироги. Сел в красном углу, локти на стол, подпер голову ладонями и как бы ухо выставил. Гости поняли: говорить будут они. И заговорили.

– О великомудрый отец наш, Борис Иванович, на тебя все наши упования! К тебе идем, как идут на свет ночные мотыльки! – так запел Леонтий Плещеев. Морозов не расцвел, но и не поморщился, слушал, чуть набычив круглую большую голову, бритую, в бархатной ермолке. – Отец наш, Борис Иванович, ты можешь нас выгнать из дому, но мы пришли сказать тебе правду истинную. Не только мы, вконец обнищавшие московские дворяне, – вся святая Русь глядит на тебя с надеждой и ждет от тебя деяний великих и крутых. Коли ты велишь нас всех кнутами перестегать, перетерпим. Лишь бы Россия была спасена от грабежа, самоуправства и глупости.

В лице Морозова никакой перемены, но ведь слушает.

– О господин наш, отец и учитель, – подхватил песню Петр Тихонович. – Может, мы по незнатности своей, по дикости, вдали от царского престола, мыслим дурно и ничтожно – тогда прости, просвети и наставь на путь! Но ведь, отец наш, попустительством сильных властей гибнут города, земля приходит в запустение. Нищие порождают нищих, но в наши дни уже и дворяне плодят не дворян, а опять же нищих.

– За взятку в судах могут засудить самого Господа Бога, прости меня, Всевышний, за святотатство, но это так! – воскликнул Плещеев. – Святые монастыри скупают лучшие земли. Городской посад разорен вконец. Люди, несущие тяжесть податей, закладывают себя патриарху, боярам Шереметевым, Стрешневым, лишь бы освободиться от тягла. И вот, глядишь, уже не сто дворов, а пятьдесят несут непосильный груз поборов и всяких общинных и государственных служб. А тяглецы все бегут! Чего дожидаться? Или близкие к царю Михаилу люди позабыли годы смуты?

Морозов молчал.

– Есть одно средство от безудержного бунта черни, – сказал Плещеев. – Родовитейшие должны поделиться властью с дворянами.

– Посад нужно укрепить, – провозгласил Траханиотов. – Всякий бунт, как уголек в печи под золой, в посадке таится. Надо людям передых дать. Устроить по-доброму посад – совершить для всей России благодеяние. И казна будет полна, и люди будут сыты, одеты и довольны. Пока же у нас довольны девятнадцать родов, кои получают боярство, минуя чин окольничего.

– Покушаем пирогов, – предложил Морозов и стал расхваливать своего повара. Хвалил до конца трапезы, до проводов гостей.

– Каков повар – таково и блюдо, – сказал родственникам на прощанье, – однако без приправ и повар бессилён. Была бы приправа по вкусу.

Велел слуге завернуть пирогов гостям, а сам пошел одеваться в праздничное платье: в Кремль ехать.

В Кремле пошел в Благовещенскую церковь, к протопопу Стефану Вонифатьевичу.

– Что же ты, отче, в Москве? – удивился боярин. – Твой духовный сын перед венчанием на царство оставлен без мудрой поддержки духовного отца!

– Оттого и в Москве, что готовимся к венчанию! – ответил Стефан Вонифатьевич. – С государем в дружках идет чистый помыслами отрок, сын Михаила Алексеевича Ртищева Федор Ртищев.

– Поезжай, отец, к Троице. Молодой царь должен в духовнике своем друга зреть. Пока большая мутная вода весны царствования не опала, надо быть рядом с царем. Он это оценит, если не теперь, по молодости, то позже.

Через час протопоп был уже в дороге, а Морозов – в кремлевской башне пыток.

Возле входа Борис Иванович встретился с князем Шаховским. За спиной князя, как ангелы-хранители, – стрельцы.

– Здравствуйте, князь Семен Иванович! – поздоровался Морозов и первым нагнул голову под низкие каменные своды.

– Здравствуй, боярин Борис Иванович! – уже в каменной башне ответил на приветствие Шаховской.

– Садись, – кивнул Морозов на лавку и сам сел.

Палачи деловито раскаливали на огне инструменты.

– Лето, а холодно здесь у вас, – поежился боярин.

– Кому холодно, кому жарко, – возразил палач и поглядел на Шаховского. – С кого начинать будем?

– Бердышева-мурзу ведем и бабу ведем.

– Обоих сразу?

Морозов повторять приказаний не любил, повернулся к Шаховскому:

– Как хлеба-то у тебя, Семен Иванович?

Шаховской глядел на раскаленные добела щипцы.

– А?!

– Хлеба уродилось, говорю?

– Хлеба? – Шаховской уставился на Морозова. – Какие хлеба? Какие еще хлеба?!

– Вотчинные... У меня в Мордовии все погорело.

– Не помню, – сказал Шаховской, – ничего про хлеба не помню.

– В московских селах нынешний год благодатный. А дыни какие вымахали! Ты сажаешь дыни?

– Дыни?! – Шаховской вдруг икнул.

– Кваску принеси нам! – крикнул Морозов стрельцу.

Палачи ввели несчастных. Посадили на лавку. Морозов, слушая, как стучат у Шаховского зубы о край квасного ковшика, повздыхал, перекрестился.

– Служилый человек, мурза Бердышев, говорил ли ты такие слова?! – вдруг закричал он пронзительно. Ковшик у Шаховского выпал из рук, квас пролился, ковшик закрутился на каменном полу. – Говорил ли ты: «Посадить бы на государство королевича датского! Не быть бы Алексею Михайловичу на царстве, когда б не Морозов»?

Палачи вытолкали и поставили перед Морозовым маленького, исполосованного кнутами татарина; тот заранее закусил губы, ожидая побоев.

– Плети ему были, – сказал старший палач. – Огнем его теперь надо.

Подручные тотчас схватили мурзу, связали руки-ноги, кинули на пол, огненное крокодилье рыльце щипцов вцепилось в ребро.

Визг, судороги, вонь сторевшего мяса, ведро ледяной воды на голову.

– Говорил ли ты... – начал спрашивать Морозов.

– Говорил! Ради истины говорил! Московский царевич – подметный. Подметный Алексей! Подметный!

– Еще ему! – Морозов тронул Шаховского за колено. – Вот ведь сами просят!

Опять вой, паленое мясо. И стук головы о каменный пол. Утащили мурзу в подвал, чтоб отлежался.

– Ну, а ты что говорила? – повернулся Морозов к бабе, вцепившейся от ужаса в лавку ногами-руками, пустившей лужу под себя.

– Батюшка, только не жги! За другими повторяла! Слово в слово – за другими.

– Что же ты говорила?

– А говорила: «Глупые-де мужики, которые быков припущают к коровам от молоду и-де коровы рожают быков. А как-де бы припущали на исходе, ино рожали все телицы. Государь царь Михаил женился на исходе, и государыня царица рожала ему царевны, а как бы де государь царь женился об молоду, и государыня-де бы царица рожала всё царевичи. Царь Михаил хотел

постричь царицу Евдокию Лукьяновну в черницы. Тут она велела подложить себе в постелю мальчика. И царевич Алексей подметный, стало быть».

– Плетей ей были, – сказал палач, – двенадцать плетей.

– Для вразумления еще двенадцать.

Опоясывающий удар кнута сорвал бабу с лавки на пол. Палач бил, словно хотел рассечь тело пополам.

– Потихе! – поморщился Морозов.

Бабу утащили очухиваться.

Пот заливал белое лицо князя Шаховского. С висков текло по бритым щекам, из глазниц бежали ручейки на усы, с усов по шее, капало с кончика носа, даже с мочек ушей капало.

– Не приведи, Господи! – почти прошептал Морозов. – Ведь как быют! Боже ты мой, как быют! И не скажешь палачу – умерь ярость. Палач государеву службу служит.

Шаховской закрыл глаза.

– Борис Иванович, ты не гляди, что от страха я мокрый весь. Самому гадко. Как мышь мокрый. Только ведь, Борис Иванович, я князь. Я княжеского звания на пытке не уроню!

– Семен Иванович, о каких пытках ты говоришь? – изумился Морозов. – Не враг же ты государю, чтоб от него таиться? Скажи, будь любезен, отчего ты так прилепился сердцем к датскому королевичу, зачем добра ему хотел, какой корысти ради?

Шаховской обмяк, привалился спиной к холодной стене.

– Все, что я скажу, Борис Иванович, ты и сам знаешь. Прилепился я к Вальдемару не ради какой корысти, а по повелению царя Михаила.

– Врешь, Семка! – вдарил ладонью по лавке Морозов.

– Не вру. А то, что по сердцу была мне эта служба, – не скрою. По нраву мне заморская ихняя жизнь. Царь Михаил перед самой смертью умыслил оставить королевича Вальдемара в Москве без переkreщения.

– Писарь, ты записал?

В темном углу зашевелилось.

– Записал, боярин.

– От пытки ты себя избавил, князь Семен. – Морозов встал с лавки. – Однако ж показания твои еретические. Оболгал ты покойного царя, князь Семен. За то тебя к сожжению приговорят, да царь у нас милосерден, не допустит злой казни.

И, не отдавая никаких приказаний, Морозов выскочил из башни вон – торопился к другим делам.

5

На последнем стану перед лаврой Алексей Михайлович до того наплакался, стоя перед иконами, что стало ему тесно в доме, да так тесно, впору бы и закричать. А все уже ко сну готово: расстелены пуховики, рынды у дверей, еще один важный дворянин под окошком – почивайте спокойно, государь. Посидел Алексей Михайлович на лавке возле окошка, поерзал да и говорит молодому Ртищеву:

– Душно!.. И лето уже на исходе. Посидеть бы у костра, на звезды поглядеть, а мои матушка с батюшкой со звезд на нас поглядят.

От печальных слов у Федя Ртищева задрожала роса на длинных ресничках.

– Ты скажи им! – Алексей покраснел: самому приказать – все равно что нож за лезвие голой рукой схватить. – Ты уж, пожалуйста, сам все скажи.

Ртищев вышел, и тотчас за дверью раздался его негромкий, такой преспокойный, домашний голос, что никто не посмел возразить бесчиновному другу безусого царя.

– Его царскому величеству угодно, – сказал Федя Ртищев, – чтобы разложили костер. За деревней, на сухом, добром месте. А возле костра чтоб постелили постель и поставили бы еду, да чтоб поблизости никого не было.

Алексею Михайловичу понравились слова Ртищева. Но пуше всего – догадливость. Дорожный друг затаенное желание учуял: одному хотелось побыть Алексею.

Костерок горел небольшой – как раз для двух людей. Сидели на огромной медвежьей шкуре. Над корчагой курился парок, от одного запаха слюнки текли. Возле корчаги – две ложки.

Алексей за ложку, а Федя Ртищев скорей его зачерпнул да, чтоб царя опередить, не подул даже. Съел – не умер, ложку отложил.

Алексей с края зачерпнул, подул, губами попробовал, качнул ложку туда-сюда, чтоб скорее остудилось. Отведал, потом уж наконец съел.

– Вкусно! А ты чего ж отложил ложку?

– После тебя, государь, поем.

– Чего после? Вместе веселей.

Хлебали, вдыхая до тихого кружения в голове запах дыма, запах холодной осенней травы, горьковатую сладость отживающих листьев.

Вскрикивали ночные птицы.

В дальнем болоте, за лесом, вдруг страшно хлопнуло, и тотчас закатился смехом неунывающий дядя филин.

Ртищев вздрогнул, Алексей улыбнулся:

– А я, грешен, люблю ночной лес. Страху перед ним не ведаю. Ночной лес – диво. Каждый шорох неспроста. Слышал, как на болоте-то? То ли водяной вылез, то ли лошадь засосало трясиной. А какая жуть, когда на болоте огоньки голубые бродят!

– Государь, неужто ты на болоте ночью был?

– Не один, с охотниками. О-о! Я бы все лето с болота не уходил. Комаров не терплю, но какая же на болотах тишина бывает! Вода непроглядная. Цветы все неподступные, трясиной, как заклатьем, отгораживаются. Стрекозы летают красоты ласковой. А потянись поймай – с головой ухнешь, над самой зыбью мерцают.

Алексей замолчал. Слушал ночь, шевелил еловой лапой огонь. Долго прослеживал улетающие в небо искры.

– Пойду пока? – осторожно предложил Ртищев. – Помолюсь.

Алексей благодарно улыбнулся:

– Пойди. Помолись. А спать лягу – приходи. Вместе спать будем.

Федор Ртищев был сыном стряпчего с ключом Михаила Алексеевича Ртищева. Род свой Ртищевы вели от Османа-Челеби-мурзы. Мурза выехал из Орды при Дмитрие Донском, крестился, поступил на службу к московскому князю, получил поместья. У него было пятеро сыновей: Арсений, Федор, Павел, Яков Ждан и Лев Широкий Рот. Каждый из сыновей стал родоначальником дворянского гнезда. От них пошли Арсеньевы, Павловы, Сомовы, Кремницкие, Ждановы, Яковцевы. Лев Широкий Рот – родоначальник Ртищевых. Были они лихвинскими городовыми дворянами, породнились с Соковниными, пошли в гору. В 1629 году Михаил Алексеевич Ртищев занесен в списки московских дворян с поместным окладом в 600 четвертей (900 десятин) земли в трех полях, и денежного жалованья дадено ему 14 рублей. В 1640 году стряпчий с ключом Михаил Ртищев имел уже 1000 четвертей земли и 120 рублей деньгами.

Федор Михайлович родился в 1625 году, в апреле. Маленьким мальчиком лишился матери, отец всегда на царских службах. Стали его друзьями, утешителями и наставниками книги: жития святых, Евангелие, Библия...

Он и теперь, оставив царя, пошел в светелку и при свечах читал жития киево-печерских преподобных. Дивился Ртищев великой святой силе малороссийских угодников. И, прочитав сказания, плакал перед иконами, моля святых послать ему крепость одолеть мирские соблазны.

Царь Алексей тоже пребывал в молитве. Вечерняя молитва была для него как утреннее умывание. Не умоешься – на ходу спать будешь целый день, не помолишься на ночь – промашешься без сна до полночи. Глядел государь на звезды, все ждал – не будет ли ему даден знак от матушки, от батюшки.

Звезды многоярусным шатром стояли на безмерно высоких небесах, и всякий взирающий был перед ними как на духу.

Костер прогорел, кто-то из слуг подошел, подкинул дров.

Алексей ничего не сказал человеку, хотя яркий огонь мешал ему. Много ли в молитве проку, когда весь ты на виду. Хотел отойти в темь, но передумал. Господи, да пусть глядят слуги! Пусть знают, как молится за их же счастье молодой царь. Такое знание о царях царям не вредит.

Долго ждал Федор Ртищев окончания молитвы Алексея. А когда решился подойти, царь обнял его, поставил рядом с собой, и молились они в ту ночь до зари.

В Троицкую лавру Алексей и Федор пришли неразливными друзьями.

Встречали царя колокольным звоном, вся братия монастырская вышла ему навстречу. Среди встречающих был и Стефан Вонифатьевич, протопоп кремлевского Благовещенского собора.

Глава вторая

1

Благовещенский протопоп Стефан Вонифатьевич шел с царем Алексеем и с товарищем его, молодым Ртищевым, к заутрене. Начиналась неделя молитвенного усердного труда. Шел Стефан Вонифатьевич весь в себе, не видя благолепия церковей, земной осенней красы, боярынь с крлями девками, прикативших в лавру поглядеть на молодого неженатого царя, но прозрел вдруг перед старичком уродцем. Сидел старичок на нижней ступени паперти, никак не мог лапти обуть, вывернутые руки до ног не доставали.

Протопоп кремлевской церкви встал вдруг перед уродцем на колени, обул его и поцеловал братским христовым поцелуем.

– Благодарю тебя, Господи! – воскликнул царь Алексей, глядя на деяние протопоба. – Благодарю тебя, Господи, что в церкви моей такие пастыри, великомудрые и, паче того, смиренные.

– Великий государь, – заплакал протопоп, – не хвали ты меня, Бога ради! Смирение должно прорасти в человеке так же естественно, как растут его власы. Если же оно прорастает от ума, в надежде на похвалу вельможи, или в назидание, а того хуже – в порицание гордому, то золото благодеяния тотчас покроется медной прозеленью.

Сурово звучали слова протопоба, но Алексей принял к нему, и оба они поплакали, и Федя Ртищев плакал на коленях, лобызая ступени святого храма.

По окончании службы царь прикладывался к иконам. Долго стоял перед «Троицей» святого отца живописного мастера Андрея Рублева. За великую радость и красоту икон своих удостоился Рублев святости, было это дорого Алексею, ибо видел – за что человек свят.

– Господи! – молился Алексей. – Ниспошли на дни царства моего тишину. Избавь от войны, мора, глада и злобы. О Господи, верую и вверяюсь силам твоим. Святые отцы, Сергей и Андрей, заступитесь за меня, грешного, перед светлым престолом.

Обедал государь в тот день в общей трапезной с монахами и странниками.

2

Лес вприсядку пошел, колеса на каждой кочке летом летят, да только и дрожки тяжелы коням.

Возница-монах повернулся к игумену, прокричал:

– Отче, лошадям передохнуть нужно!

– Гони!

– Шибче не пойдут! Они ж кони, не птицы.

Игумен потянулся, вырвал у монаха вожжи, поднялся на ноги, хлипкие дрожки заерзали в пыли.

– Кнут!

Выхватил протянутый робко кнут, раскрутил, ожег правую – скакнула, ожег левую – растащались над землей.

– Г-и-и-и-и! – как шакал завыл, кнутом хлещет без роздыху, дрожки сами собой вскок пошли, и гнутся, и валятся. Монах голову руками обхватил и заплакал от страха. – Ги-и-и-и!

И только хлесть, хлесть. Шкура ключьями с лошадей летит. И вдруг тише, тише. Встали. Легли, захрипели, дрыгая предсмертно ногами.

– Держи! – игумен кинул монаху кнут. – Сбрую и дрожки продай и возвращайся на монастырское подворье.

Не оглядываясь, пошел по дороге.

– Отец Никон! Отче! – крикнул, опамятававшись, монах, пускаясь бегом за игуменом. – Кому же я тут дрожки продам?

Никон, не замедляя шага, глянул на бегущего сбоку монаха, глянул и отвернулся. Монах тотчас и стал, послабело в ногах.

3

В деревянных царских хоромах, построенных в лавре Михаилом Федоровичем на месте дворца Ивана Грозного, было просторно и горестно. Где бы ни притулился Алексей, ему чудился запах отца. Любимый запах отцовских рук. Руки отца всегда были чистые и холодные. Пахло от них анисом, мятой – осенними яблоками. Даже по весне. От отца никогда не пахло потом, пылью, лошаадьми, даже ладаном и свечами не пахло.

В саду среди пожухлых листьев, как праздничные фонарики, налитые светом изнутри, сидели на ветках никем не тронутые созревшие яблоки.

«Надо бы велеть, чтоб сняли, – думал о яблоках Алексей. – Ртищеву надо б сказать, чтоб он сказал...»

В носу у государя хлюпало от частых плачей. Совсем в лавре расклеился, разжалобился. Его все теперь называли царем, хотя на царство он должен был венчаться после Собора. Отца Собор позвал в цари, и сына должен назвать царем Собор. Морозов хлопочет. Все и так уже присягнули, а Собор скликают.

Царь-расцарь – и никто сиротой не назовет, не пожалеет.

Троице-Сергиева лавра принимала Алексея как государя, без всяких оговорок. Службы шли торжественные, полные, без пропусков и сокращений, тяжелые службы. К тому обязывали пребывание царя и славное трехсотлетие.

В 1345 году преподобный Сергей Радонежский да брат его родной срубили на горе Маковец келью для жилья и церковь малую для молитвы. Посвятил Сергей церковь Святой Троице. Через сто лет свершилось открытие мощей преподобного – первых мощей первого святого

Московской земли. В похвалу Сергию на месте деревянного был поставлен каменный Троицкий собор, а расписывали его Андрей Рублев и Даниил Черный с братией. В эти годы, на склоне лет своих, Андрей Рублев, возликовав душою, написал для иконостаса святую «Троицу».

Был монастырь сей отменным воином. Бился он с татарами, горел дотла. Здесь получил благословение на битву с Мамаем московский князь Дмитрий. Здесь, под стенами Троицы, появилась воинская доблесть рыцарей Речи Посполитой. Шестнадцать месяцев полки Сапеги и Лисовского ломались в монастырь. Лбы зашибли, и только. Преградили путь им железо, мужество и крепкие стены. Через десять лет королевич Владислав тоже пытал счастья. Да встретили его не колоколами, а страшным огненным боем. Королевича та гроза наставила на ум, и подмахнул он в монастырском селе Деулине мирный договор.

Батюшка царь Михаил Федорович любил Троицу, а любя, строил. Церкви, хоромы, сады. Деревянные кровли при нем заменили каменными сводами, купола перекрыли белым немецким железом, кресты вызолотили.

Радел батюшка царь Михаил Федорович о доме Бога, а Бог не дал ему долгих дней. Кого любит – того и прибирает.

Алексей, сидя возле открытого в сад окошка, горе свое как злую кошку ласкал: ее гладят, а она когтями дерет.

Набравшись храбрости, пришел к царю протопоп Стефан Вонифатьевич. Был протопоп ладен собой, черняв, лицом строгий, а глазами добр. Поглядит – приветит.

Алексею и хотелось, чтоб его пожалели, и боялся жалости, боялся не те слова услышать, фальшивых слов боялся.

Стефан Вонифатьевич на порог, а царь, опережая протопопа, наказ ему:

– Как я сюда шел, дивное пение слышал. Слепцы пели, по-малоросски на голоса расходились. Ты разыщи их, они в лавру шли. Такое пение – великое украшение службы.

– О государь наш, цветочек наш! – Протопоп Стефан опустился на колени. – Прости мои слезы. Молод ты, как вишенка в цвету, горе твое – горше не бывает, а о нас, сирых, думаешь... О красоте церкви Христовой печешься... Дозволь, государь, руку твою поцеловать.

Алексей подошел к протопопу, поднял с колен и сказал ему:

– Поцелуй меня, отец святой, в лоб, как батюшка целовал. Будь мне отцом духовным.

Алексей прикипал к людям сердцем сразу и надолго. Протопоп Стефан, обувший на паперти уroda, сумевший пожалеть, не растравляя боли, покори́л Алексея, как и Федя Ртищев, как малоросское церковное пение.

4

Перед сном Федя Ртищев, который, как заправский постельничий, осматривал приготовленную царю постель и ложился спать в той же комнате, у двери, нашептал Алексею на сон грядущий:

– Государь, нашел я место для истинно божеской милостыни... За монастырским селом, верстах в трех, – починок. Там мужика громом убило, а медведь лошадь задрал. Семеро сирот, мал мала, вдова топиться бегала, да вытащили.

– О Господи! – воскликнул государь. – Одним людям Новый год – радость и ожидание новых радостей, а другим горе и горе.

– В молитвах и позабылось, что завтра первое сентября – Новый год! – удивился Ртищев.

– После молебна сразу и пойдем в починок, – сказал царь. – Сотворить завтра милостыню – многих угодников порадовать. Святых всех знаешь?

– На первое сентября, – начал вспоминать Ртищев святых, загибая пальцы. – Восемь получается.

– А забыл-таки одного! – воскликнул Алексей, радуясь тому, что молодой Ртищев – великий знаток церковных дел, и тому, что сам-то он, царь Алексей, знаток большой. – Забыл-таки...

– Какого же? – Ртищев быстро перебрал в памяти святых. – Может, не сказал, что первое сентября – начало индикту, еже есть новому делу.

– Запомню Марфу, мать Симеона Столпника, – подсказал Алексей. – Давай поспим, Федя. Завтра, чуе сердце, Господь пошлет нам трудный, но благостный день.

В обыкновенных монашеских рясах, с посохами, с котомками, в лаптях, юркнули за монастырские ворота, степенно дошагали до леса, а по лесу бегом, хохоча, упиваясь игрой в переодевание, волей, молодостью. Они наперебой передразнивали монастырского воротника, который благословил их в дорогу.

– «Чи?» – спрашивает! – хохотал Алексей.

– А я ему: «Иноки Кожеозерского монастыря!» – покатывался Ртищев.

– А почему Кожеозерского?

– Сказалось.

– Ох-ха-ха-ха! – заливаясь, Алексей прыгнул в зеленый мох, повернулся на спину, поглядел, как сосны покачивают головами высоко-высоко над землей, и перестал смеяться.

Они пошли тропинкой, плутовавшей в папоротниках, и вскоре услышали многоголосый недобрый шум.

– Не погоня ли? – остановился Алексей.

– Нет, – сказал Ртищев, – это в монастырском селе.

Они ускорили шаги, но двигались молча, ступали мимо сучков. Ртищев, шедший впереди, поднял руку и остановился. Алексей глядел из-за его плеча. Монастырское село гуляло, выставив столы на улицу.

– Новый год справляют, – громко, не таясь, сказал Ртищев. – Обойдем его стороной?

Алексей сжал ему рукой плечо:

– Погоди!

Посреди деревни из обычных снопов был сложен и связан огромный сноп, с избу. Из этого снопа посыпались вдруг людишки с харями, у кого лошадиная, а у кого и с рогами. Засвистели людишки в дудки, ударили в бубны. Медведь выскочил на задних лапах. Подбежал к столу, лапу тянет. Мужики смеются, а скоморох из кружки вино посасывает и медведя поддразнивает. Тут медведь схватил бабу скоморошью, задрал ей подол до головы и бежит по кругу. Потом уронил бабу и опять к столу. Мужики на баб своих покосились, поднесли медведю не то что кружку – бадью. Медведь прильнул, осушил. Напятил бадью на башку, сел и башкой крутит, довольный-предовольный. Пустились скоморохи скакать, зады голые выставлять и всякое безобразие творить. Из груди женских, фальшивых, молоко струей пускали, девок своих через голову кидали.

Смотрел Алексей на гулянье не шелохнувшись, и еще бы смотрел, да Федя Ртищев потянул его за собой и увел.

Шел Алексей за Федей Ртищевым да вдруг схватил его, повернул к себе и стал кричать ему в лицо, трясти и слюной брызгать:

– Да где же молитвами дойти до Господа, когда в монастырском селе стыда не понимают? Перебить всех! Всех перебить – одно спасенье!

Накричался и опять пошел следом, задумчивый, безвольный.

– Вот и починок, – сказал Ртищев.

5

Починок был в три избы. Федя указал на крайнюю, ближнюю к ним.

Изба как изба. Зашли. Черно, блестит на потолке и стенах сажа. Детишки голые по полу ползают, а какие побольше – за столом. Корчага посреди стола с пареной репой. Едят едоки репу, водой запивают, а на хлеб только глядят. Четверть краюхи посреди стола лежит – на закуску.

Карапуз к Алексею подполз, за ногу схватился, встал да шлеп на попу, звонко. И глядит. Дети не засмеялись, есть перестали. Женщина из-за печи выглянула:

– Чего вам, странники? Нет у нас ничего. Одна репа, садитесь, коли голоднее нас.

Ртищева передернуло, а Алексей подошел к лавке, помолился на иконку, сел, взял репу. Пожевал. Ртищеву деваться некуда, тоже за репу принялся. Ребятишки от стола откачнулись, уступили еду святым странникам, но глядят исподлобья, глазенки голодные. Карапуз вдруг припустился к столу, забрался на лавку, голым задом проерзал до корчаги, схватил репку – и назад.

– Спасибо за угощение! – Алексей встал, опять помолился.

Развязал котомку, и Федя свою развязал. Положили они на стол хлеба, сала, бочоночек меду и пошли вон под звучное урчание пустых детских животов.

А в монастыре царь спохватился вдруг: не та милостыня.

– Возьми денег, – сказал Ртищеву, – пошли вдове на лошадь и на две коровы. Да проверь, сполна ли донесли деньги.

6

На вечерне, во время чтения Евангелия, как бы дохнуло ветром, свечи затрещали, огоньки качнулись и пришли в трепет. Алексей Михайлович, сидевший на своем царском месте, удивился и оглянулся.

Подметая пол свободной черной рясой, к алтарю стремительно шел высокий, чернобородый, с черным огнем в глазах, незнакомый Алексею игумен. В сторону царя даже не покосился. Упал перед алтарем на колени, задрожал огромным телом, удерживая рыдания, и стал бить истовые поклоны.

От стремительных движений с монашеской одежды летела дорожная пыль. Свечи золотили пыль, и было Алексею удивительно.

– Это игумен Кожеозерского монастыря Никон! – шепнул царю стоявший возле его места Стефан Вонифатьевич. – Великий молитвенник, не знающий пощады ни к себе, ни к братии. Очень строг!

После службы царь пошел прикладываться к иконам, и тут, раздвинув вельмож, светских и духовных, к нему подошел стремительный игумен. Встал перед государем на колени.

– Царь и великий князь, заступник нам перед Всевышним! Не ради своей нужды прошел я долгий путь, чтобы пасть к твоим ногам. Заступись, великий государь, за несчастную вдову Пелагею. Некий вельможа велел перепахать ее поле и оставил без хлеба насущного. Ныне тот вельможа осадил дом Пелагеи, домогаясь взять силой в наложницы ее красавицу дочь. Восстань, великий государь, против российских басурманов! Молю тебя слезно!

– Поднимись! – попросил Алексей.

Никон упрямо замотал головой:

– Обещай, государь, заступиться за вдову!

– Федя, – обратился Алексей к Ртищеву, – немедленно пошли стрельцов, куда укажет игумен Никон, заступник за вдов и сирот. А ты, игумен, приходи ко мне на Верх. И теперь, и в Москве.

Никон вскочил на ноги, и сразу люди вокруг помельчали. Поклонился. Иерархи, стоявшие за спиной царя, зашептались осудительно, а Никон, не слыша ничего, отошел к иконе своего покровителя – святого Никона – и опять молился и бил несчетные поклоны.

7

Молодой Ртищев, помня наказ царя послать в починок царскую милостыню, обратился к игумену Троице-Сергиева монастыря, чтоб тот указал человека скромного и честного.

– Возьмите для царского дела служку моего Вторя, – посоветовал игумен. – Втор кротостью подобен овену. Он – не чернец, дальний мне родственник, сирота. Грамоте обучен. Я его взял бумаги мои разбирать.

И вправду паренек оказался тихим, от каждого обращенного к нему слова заливался краской. Глаза опущены. Ресницы девичьи. Да и лицом как дева. Кожа тонкая, нежная, губы румяные, волосы шелковые, русые.

Дал Ртищев Втору деньги, велел купить лошадь добрую, двух дойных коров и отвести в починок.

Дня через два у Ртищева выдался свободный час – государю показывали сокровищницу, – поскакал Ртищев в починок, другой наказ царя исполнить.

Вдова его узнала, к ручке кинулась. За овечек благодарила. И впрямь – в загоне стояли три овцы, Ртищев подарил вдове алтын, на коня – и в лавру.

Игумен узнал про деяние родственничка, побелел. Сам отогнал вдове из монастырского скота двух лошадей и трех коров. Тихого Вторя на скотном дворе высекли, поставили на дорогу и дали пинка.

Ртищев игумену обещал царю о мерзком деле не рассказывать и не рассказал. Царь от печалей своих отходить помаленьку начал, чего зря тревожить?

Государь забавлялся пением слепцов, которых привел в лавру поводырь Саввушка.

– Какая сладость неизреченная! – воскликнул государь. – Ах, завести бы во всех церквях русских такое дивное пение!

– Заведем, великий государь! – обещал протопоп Стефан Вонифатьевич.

– Неужто по всей земле нашей так ангельски запоют? Не верится.

– Государь, – молодой Ртищев знал, когда вступить в разговор, – прости меня великодушно, но, видя радость твою и сам оттого пребывая в радости, послал я в Малороссию от себя за певцами и за учителями. Господь даст, будет у нас церковь Христова краше прежнего.

Стефан Вонифатьевич отправил слепцов в Москву, в свою церковь, государь собирался в обратный путь, да и нашлось у него новое приятное и полезное дело: вел беседы с игуменом Кожеозерского монастыря, подвижником Никоном.

Никону было сорок лет, самое время или крест на себе поставить, или, коль жажда жжет, схватить бычка, имя которому – Власть, за ноги и влачиться, куда вытянет или растопчет.

– Государь, – говорил Никон, запустив пятерню в густую, росшую сосульками бороду, – ты и без нас ведаешь: людишки твои, забыв Божий страх, предаются мерзостным увеселениям, монахи ищут роскоши, попы не знают грамоты и несут с алтарей такую дичь, что волосы встают дыбом. Спасать нужно мир от соблазнов! Спаси его, государь!

– Но что же я могу? – разводил беспомощно руками напуганный Алексей.

– Государь! Церковь Христова, вооружась именем Господа, одолела идолов римских и славянских. Привести дом в порядок – не заново строить, одним веником справимся.

– Ты прошлый раз говорил, мало святых у нас, своих, русских.

– Мало, государь! Мало!.. А почему бы, наприклад, мощи московского митрополита Филиппа, погибшего от руки адова исчадия Малюты Скуратова, не возвеличить? Государь, я

бы сам за теми мощами пешком пошел и на себе принес. Мощи Филиппа Московского ныне на Соловках. Много исцелений и чудес от них молящимся.

– За какую провинность Малюта Скуратов убил святого отца? – Алексей спросил, а глазами в пол: ему стыдно за великого царя. Страшная память в народе о кровавом неистовстве Ивана Грозного, но отец царь Михаил держался за тонкую ниточку родства и сыну завещал напоминать при случае о великом родиче.

Иван Грозный первым браком был женат на дочери окольного Романа Юрьевича Захарина, Анастасии. За тринадцать лет жизни с нею у Ивана родилось шестеро детей; царевны Анна, Мария, Евдокия умерли во младенчестве, нелепо утонул по дороге из Кириллова монастыря шестимесячный первенец Дмитрий. Царевич Иван смертельно ранен отцом. Выжил последний ребенок, хилый Федор. Царь Михаил был сыном Федора Никитовича Романова, племянника Анастасии.

– О государь! – воскликнул Никон, готовясь отвечать на трудный вопрос. – Потомкам ли судить пращуров? Но грехи пращуров отмаливать потомкам. Великий твой прадед Иван Четвертый призвал Филиппа из Соловецкого монастыря, где Филипп устроил каменные соборы, кельи, соединил каналами озера, построил гавань и лады. Филипп, придя в Москву, был истинным пастырем овец христовых. Но он не пожелал благословить опричнину. Когда царь явился в Успенский собор с опричниками, митрополит не заметил царя. Кто-то из опричников закричал на него: «Владыко! Государь перед тобой. Благослови его!» На это митрополит Филипп ответил: «Государь, кому подражаешь, облекшись в такую одежду?» А царь ходил в те дни в монашеской рясе. «Ни в одеждах, ни в делах не видно царя! – воскликнул Филипп. – У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды... Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская». Так сказал митрополит царю. «Теперь вы у меня взвоете!» – затопал в ярости ногами царь Иван и низверг Филиппа с его престола. Самого не убил, отправил в Тверь, в монастырь, но убил десятерых Колычевых и поднес в подарок Филиппу голову любимого племянника.

Никон замолчал, перекрестился, зашептал молитвы.

Было поздно. За окошком, как больной зуб, ныл ветер. Хорошая погода кончилась утром. Дождь ворочается за стенами, словно живой, шуршит, шипит. Бьются друг о друга голые сучья яблонь. Стучат, бедные, как нищенки, просят от непогоды в тепло.

Алексей оправил пальцами свечу. О больших делах он любил говорить при одной свече.

– Я знаю, – сказал он, – прадед мой грешен, я молюсь за спасение души его.

– Нужно восстановить справедливость! – Глаза у Никона засверкали. – Нужно вернуть митрополита Филиппа на его законный престол. Нужно его мощи перевезти в Москву.

– Спасибо тебе, святой отец, за доброе мудрое слово! – Глаза Алексея тоже светились. – О Господи, будет ли прощено царю Ивану за его кровопролитие! Но ты не сказал, почему убил Малюта святого отца.

– Царь Иван покарал гневом Новгород Великий. Новгородского митрополита он приказал женить на кобыле, детей привязывали к матерям и бросали в воду с башен. Царь Иван убивал тысячу человек в день... Потом он опомнился и послал Малюту к Филиппу, чтоб тот дал царю благословение. Филипп не дал благословения, и яростный Малюта задушил его.

Алексей и Никон, затаившись, слушали, как трещит свеча.

Сидели не двигаясь, но их тени на стенах и потолке трепетали – страшные, дикие времена случались на Руси.

Глава третья

1

Владимирскому и Московскому государству и всем государствам Российского царства, всем городам, княжествам, землям и всем народам указано было двадцать восьмого сентября, на память преподобного Харитона-исповедника, работы никакой не работать, дела никакого не промышлять, колодников отпустить на все четыре стороны, всем пить вино, гулять и славить царя. Двадцать восьмого сентября Алексей Михайлович Романов венчался на царство.

Торжества начались двадцать седьмого всенощной в соборной церкви Пресвятые Богородицы, честного и славного ее успения. Служил всенощную патриарх, святейший Иосиф.

Назавтра в два часа дня Алексей Михайлович перешел из хором своих в Золотую палату и приказал созвать всех бояр, а воеводам и чинам быть в сенях в золотом платье.

Это и был «собор» Морозова. Священство и весь синклит: бояре, окольничие, думные дворяне, дворяне московские и дворяне городовые и гости, приглашенные участвовать в венчании на царство, – поставили подписи под бумагой, сочиненной Борисом Ивановичем, и это было «избранием» царя.

Проснулся в тот день Алексей – темно было. Не поднимаясь с постели, вспомнил по порядку весь чин венчания: тому нести Животворящий Крест, тому яблоко, повторил про себя речь, какую должен был сказать в соборе. Речь эта – как молитва, ни одного слова нельзя пропустить.

Лезли в голову сказки бахарей про хороших царей.

Господи! Всякий царь в мечтах видит, что у каждого его холопа хоромы, скота полон двор, амбары с верхом, аж крыши трещат!.. Только в жизни другое: пожары, недород, мор, война... Где ж русским людям богатыми быть, земля скудная, пепел и пепел. Нет в земле ни золота, ни серебра. Чтоб своих денег начеканить, приходится покупать у зарубежных королей монеты, а потом резать их, перебивать. Одна у русских надежда – на далеких сибирских соболей.

Так и лежал государь, мечась мыслями, вздремывая, покуда не явился постельничий – со спальниками и стряпчими. Оба Ртищевых, старый и молодой, тоже были здесь. У Михаила Алексеевича, у отца, должность стряпчего с ключом, у Федора Михайловича, у сына, – стряпчего у крюка. Стряпчий с ключом – хранитель царской «стряпни»: постели, одеял, белья, одежды; стряпчий у крюка обязан царя одевать, обувать, омыwać, чесать, ходить и ездить за государем, носить его шляпу, посох и прочую «стряпню».

Одевшись, умывшись, Алексей слушал заутреню в Крестовой палате. Потом вышел к столовому кушанью.

Велел подать постное. Боялся, как бы от мясной пищи живот на торжестве не схватило. Съел кусок черного хлеба с солью, поел соленых груздей, выпил пива с коричневым маслом, тем и доволен был.

До начала церемонии оставалось два часа, но Алексей лег подремать и даже заснул.

Одевали его в праздничное платье спешно, ошибаясь, мечась, и он успокаивал стряпчих: – Успеется! Всей дороги – из хором в хоромы перейти.

Чуть припоздав к назначенному времени, Алексей, не по возрасту медлительно и чинно, прошествовал к царскому месту, стоявшему у стены, повернулся лицом к палате, пока еще пустой, и звонким мальчишеским петушком крикнул думному дьяку Ивану Гаврилёву:

– Созвать всех бояр, а воеводам быть в сенях в золотом платье!

Созывать никого не надо было, все уже собрались за дверьми. Спектакль начался.

Дьяк Гаврилёв широко растворил двери, и за дверьми тотчас колыхнулась сановная Россия. Колыхнулась, поплыла. Блестели седины черно-бурых шуб, драгоценнейшим темным золотом отливали соболя, вспыхивали, играли камни – так снег горит под солнцем в мороз.

Бояре вошли и стали. Царь сел.

Дряхлому Иосифу-патриарху доложили – царь в Золотой палате, и патриарх, окруженный великой свитой, проследовал в Успенский собор. Теперь Алексею шепнули: патриарх на месте.

Вытягивая шею, чуть привскакивая на каждом слове, Алексей отдал серебряный приказ:

– За Животворящим Крестом и царским чином идти боярину Василию Ивановичу Стрешневу да казначею Богдану Миничу Дубровскому, с ними быть благовещенскому протопопу Стефану Вонифатьевичу и двум дьяконам.

Бояре, услышав ликующий, чистый, как родник, серебряный голос, слезами умылись от умиления.

Пока тянулись томительные минуты ожидания, Алексей сидел, тихо улыбаясь, большой, спокойный, торжественный мальчик. Бояре снова отирали слезы: «Благолепен!»

Посланные вернулись.

– Шапку возьмет боярин Лукьян Степанович Стрешнев! – объявил известное всем Алексей.

Лукьян Степанович принял у Богдана Минича Дубровского царскую шапку, а Василий Иванович Стрешнев поднес царю крест. Алексей приложился к кресту, и Стефан Вонифатьевич пророкотал, едва сдерживая сладостное рыдание:

– Достоин есть!

Подали на золотом блюде царский сан и златошитую поволоку с жемчужным крестом. Алексей накрыл блюдо поволокой и передал его протопопу Стефану Вонифатьевичу.

Поднял протопоп драгоценную ношу над головой и понес, а дьяконы поддерживали его под руки. За протопопом с Животворящим Крестом шел Василий Петрович Шереметев, царский чин несли: скипетр – боярин Василий Иванович Стрешнев, яблоко – казначей Богдан Минич Дубровский, блюдо – думный дьяк Иван Гаврилёв, стоянец кресту и царскому венцу – думный дьяк Михайло Волошенинов.

Когда шествие приблизилось к Успенскому собору, на кремлевских церквях, а за ними на церквях Москвы и всего государства ударили во все колокола.

Патриарх Иосиф встречал царский сан на паперти. У протопопа Стефана Вонифатьевича сан приняли Варлаам, митрополит Ростовский и Ярославский, да Маркел, архиепископ Вологодский. Поднесли сан патриарху, тот принял, принес на налой и кадил крестообразно.

Беречь сан встали Василий Иванович Стрешнев и Богдан Минич Дубровский, а Василий Петрович Шереметев пошел доложить царю – все готово.

Двинулись.

Впереди царя шли родственники по отцу, князья Черкасские, Яков Куденетович и Григорий Сунгелеевич. За ними Михайло Михайлович Темкин-Ростовский, Василий Андреевич Голицын, князья Михайло да Федор Никитовичи Одоевские, Петр Михайлович Салтыков, Борис Иванович Троекуров, Василий Иванович Шереметев, князь Юрий Петрович Буйносов-Ростовский, князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовский, Иван-большой да Иван-меньшой Федоровичи Стрешневы, Родион Матвеевич Стрешнев, Никифор Сергеевич Собакин, Василий Васильевич Бутурлин, Богдан Матвеевич Хитрово, Иван Иванович Колычев, Василий Яковлевич Голохвастов. Афанасий Иванович Колычев, Афанасий Иванович Матюшкин и протопоп Стефан Вонифатьевич, который кропил святой водою царский путь.

Все эти великие и сильные люди Московского царства, престарелые и совсем молодые, были как прошлый день. Они еще вершили судьбы многих и многих и были уверены – перемен быть не может при серьезном тихом царе-мальчике, и потому всякий, кто шел впереди, назад

не оглядывался. А посмотреть бы им на последнего среди них, Богдана Хитрово, поискать бы им глазами в толпе, шагавшей за царем. Там среди многих затерялся Борис Иванович Морозов и многие другие незаметные люди.

Грех было не зарумяниться щекам в тот пронзительный синий день, в холодный и светлый. Теплый воздух отлетел от земли, и золотые кресты как бы вздрагивали, как бы текли, и казалось – вся Москва, замерев, вмерзла в синий лед.

Хор встретил царя «многолетием». Алексей молился, целовал многоцелебную ризу Иисуса Христа, прикладывался к мощам, принял благословение патриарха. Святейший Иосиф дрожащими от старческой немощи руками окропил царя святой водой и велел архидакону начать молебен Живоначальной Троице и Пресвятой Богородице да Петру, митрополиту Московскому, чудотворцу, и преподобному отцу Сергию.

После молебна царь и патриарх сели на свои места в чертоге. Справа от царя стояли бояре, слева – духовенство.

Воцарилось молчание.

Царь встал, улыбнулся и, улыбаясь кротко, смиренным голосом заговорил, все время отыскивая и находя сочувственные глаза:

– Апостольских престолов восприемницы; святые истинные православныя веры греческого собора столпы, пастыри и учителя Христова словесного стада, богомольцы наши: пречестнейшие и всесветлейшие о Боге, отец отцам и учитель Христовых велений истины, столп благочестия, евангельские проповеди рачитель, кормчий Христова корабля святейший Иосиф, патриарх Московский и всея России, и преосвященные митрополиты, архиепископы, и епископы, и весь священный собор, и вы, бояре, и окольничие, и думные люди, и дворяне, и приказные, и всякие служебные люди, и гости, и все христолюбивое воинство, и всего великого Российского царства православные христиане...

Все это витиеватое Алексей говорил бездумно, не вникая в смысл, но в глазах его затрепетал ум, а слово стало сильным, когда помянул, что он, Алексей, наследник Рюрика, святого Владимира Святославича, Владимира Всеволодовича Мономаха, греческого императора Константина Мономаха, помянул деда своего, царя Федора Иоанновича.

Глаза Алексея смотрели теперь поверх голов, голос звенел, взлетал, но не срывался.

Отвечал Алексею патриарх Иосиф.

Засидевшись, он ерзал на своем стуле и никак не мог встать. Наконец, повиснув на патриаршем своем посохе, разогнулся и, не в силах унять дрожь старческих синих рук, трясая головой, раскашлялся, но когда заговорил, то будто спала с него обуза лет.

– О Богом дарованный! – воскликнул Иосиф сильным бархатным голосом. – Благочестивый и христолюбивый, изрядный, сиятельной, наипаче же в царях пресветлейший великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея России самодержец!

Кончив речь, патриарх послал за Животворящим Крестом; его принесли на золотом блюде Серапион, митрополит Крутицкий, да Маркел, архиепископ Вологодский. Блюдо у них приняли митрополиты Афоний Новгородский да Варлаам Ростовский. Патриарх трижды поклонился Кресту, поцеловал и благословил им царя Алексея.

После молитв и малой ектеньи патриарх послал двух архимандритов и игумена за бармами. Бармы приняли архиепископы Суздальский, Рязанский и епископ Коломенский.

После возложения на царские плечи барм и молитвы патриарх послал за венцом. Шапка Мономаха – это золотое кружево на гладком золотом поле. Восемь кружевных лепестков тульи уходят под золотой стоянец, на котором в золотой же оправе рубины и изумруды, сам крест прост, четырехконечный, гладкий, с тяжелыми каплями на концах.

Патриарх поднял венец над головой Алексея. Алексей закрыл глаза, ибо вот оно мгновение, о котором он знал только, что оно когда-нибудь должно произойти. Когда-нибудь, а оно вот оно! Оно – теперь!

Мягкий мех соболя коснулся головы, и тотчас голову сдавил обруч тяжести. Шапка и впрямь не легка была.

Патриарх поклонился венчанному, и Алексей, чуть приподняв руками венец, ответил поклоном. Последний раз в жизни царь обнажил перед человеком голову.

Когда в руки ему вложили: в правую – скипетр, в левую – яблоко державы, он поклонился патриарху одними бровями, свел и опустил, ибо вся земная власть была в его белых руках и никто в России не мог и в мыслях поставить себя рядом с ним.

Пели «многая лета», и все поклонились новому царю – сначала духовенство, потом бояре, окольничие и прочая, прочая...

Патриарх сказал Алексею поучение:

– Всех же православных христиан блюди и жалуй. И попечение имей о них от всего сердца, за обиженных стой царски и мужески.

Царь кивал головой и улыбался. Было радостно: чин постановления на престол удался, никто ни в чем не ошибся, не замешкался, в животе не теснило, боярского подвоха бояться не надобно, потому что он царь венчанный – от Бога, теперь им надо бояться.

Солнце сияло, потеплело даже. Вся Москва – праздничный стол. Все хорошо!

А по кривым улочкам под трезвон колоколов расползлся шепоток – не настоящий царь, подметный. А настоящий, сын царя Василия Шуйского, в бегах, от сыча Морозова едва-едва утек.

2

Светский царский праздник начался сразу же по выходе царя из Успенского собора. В дверях Никита Иванович Романов осыпал племянника золотыми монетами. Вдругорядь он осыпал царя монетами у Михаила Архангела, в третий раз – на Золотой лестнице из Благовещенской церкви в царские покои.

На второй день праздника царь Алексей принимал в Золотой палате подарки, а сам отда- ривал указами.

Борис Иванович Морозов, в знатности рода уступавший многим и многим боярам и кня- зьям, дабы наверстать упущенное предками, придумал новый высочайший чин «ближнего боярина».

Из бояр в «ближние» пожалованы были Федор Иванович Шереметев, управлявший цар- ством при царе Михаиле, князь Дмитрий Мистрюкович Черкасский, Борис Иванович Моро- зов и князь Никита Иванович Одоевский.

Себя в жалованной грамоте Морозов поставил третьим, но ни для кого не было секре- том – наставник царя по близости к царю соперников не знает.

В бояре из стольников, минуя чин окольничего, были поставлены: князь Яков Куде- нетович Черкасский, Львов-Салтыков, князь Куракин, Федор Степанович Стрешнев, Тем- кин-Ростовский и князь Алексей Никитович Трубецкой.

Три дня шли пиры в Грановитой палате. На пиру царь указал быть боярам и дворянам без мест. Вняли указу, не местничались, не драли друг друга за бороды, оспаривая более высокое место.

В первый день великого царского пира возле дома Плещеева остановился старенький возок-каре́та боярина Бориса Ивановича Морозова – лошадь распряглась. Кучера кинулись поправлять сбрую, а Плещеев Леонтий Стефанович тут как тут, выскочил за ворота спросить: не нужна ли помощь какая, не соизволит ли боярин посетить родственный дом...

Морозов быстро отворил дверцу возка, усадил Плещеева рядом с собой и, опустив шторку, заговорил быстро и тихо:

– В городе болтуны завелись. Шепчут по углам, что царь подметный. Никто тебе не помощник, Леонтий Стефанович, но и помехи не будет. Опростоволосишься – пощады тоже не жди, но ежели толки прекратятся – не забуду тебя! – сказал и тотчас стал легонько выталкивать из возка. – Ступай да помни: для царя, как для себя, служи. Тебе будет хорошо и всему роду Плещеевых.

Едва Леонтий Стефанович ступил на землю, лошади рванули, Плещеева обдало грязью, все лицо залепило. Дома к нему кинулись с умыванием, но Плещеев всех разогнал. Сидел в горнице, не зажигая света, сдирал с лица комья грязи, целовал их и улыбался.

3

Уж больно люто щипался слепец Харитон. Бежать Саввушка вроде бы и не собирался, в Кремле жил, одежонку ему дали новую, кормили хорошо, да, случилось, заспались слепцы после всенощной, а он и пойдти погулять. За кремлевскую стену вышел, а тут торг идет! Народ толчется, семечки лузгает. Послушал, как торгуются. Один у другого шубу торговал-торговал да плюнул. Подошел другой покупатель, а первый говорит: «Не бери здесь, эти шубы молю быты, в дырках». Торговец хват за палку – да палкой, а ему в ответ посошком по лбу. И пошла потеха. Саввушка стоит глядит. Интересно. Крепко подрались мужики, а потом замирились и пошли в царев кабак. «Под пушками», тут же, у кремлевской стены.

Саввушка, рот разиня, потащился за драчунами, но дорогу ему пересекли два молодца на лошадях. Одеты красно. Сапоги у обоих желтые, штаны до колен синие, карманы над коленками – зепь – красные, воротники стоячие, жемчугом шиты, на кафтанах золотые цветы, шапки набекрень, сободем подбиты. Углядели девиц в толпе удалыцы, в литавры ударили вдруг, кони от испуга на дыбы, люди шарахнулись в стороны. Поехали молодцы через площадь в Белый город. Побежал Саввушка за ними, а когда поотстал да опамятовался – вся Москва колоколами гудит. Слепцы уже давно на клиросе. Понял тут Саввушка – нет ему дороги назад. До смерти слепец Харитон его не защиплет, а вот укорами да попреками сживет со свету.

К ночи дело. Землю морозец прихватывает и Саввушкины ноги заодно. Бредет паренек из улицы в улицу, сам не знает куда. Вдруг теплом повеяло и мазюней. Из амбара запах.

Подошел поближе Саввушка, и ноги сами к дверям его принесли. Двери в амбаре нараспашку, печь пышет, возле печи двое. Каждый шириной – три человека поставь, а ростом как пеньки.

В ступе репу для мазюни толкут, ступа огромная, а ходуном под пестиками ходит, да пестики, слава Богу, дубовые, каждый пуда на три. Из котла возле печки клубами пар. Патокой пахнет.

У Саввушки слюнки потекли. Глядит на котел да огонь как заколдованный.

Эти двое увидали мальчика, пестики отложили. Один взял тарель деревянную, другой половник деревянный. Один зачерпнул муки, другой патокой муку залил и говорит:

– Заходи, паренек, отведай нашей мазюни.

Саввушка икону поискал, не видно в темноте, на печь покрестился и вошел в амбар.

Только за ложку взялся, застучал колотушкой пристав по стене:

– Братаны! Печь гасите!

– Слышим! – гаркнули братаны. – Прогорают дровишки, на жару пироги будем ставить. Заходи поутру за пирогами с вязигой!

– С вязигой – вкусно! – прокричал пристав за стеной. – Зайду!

Деревянная Москва страдала от пожаров. Слободами выгорала. Оттого ночью печки топить сам царь запретил. Прежний. Новый ничего еще не запретил, да и не разрешил покамест ничего.

Саввушка поел мазюни, ложку отложил, покрестился...

– Спасибо, добрые люди!

Один братан улыбнулся во весь рот, а другой одними глазами.

– На здоровье, – сказал тот, кто улыбался во весь рот. – Накормили тебя, теперь спрашивать будем. Мы – пирожники. Я – совсем молодец, а он на одно ухо не слышит. В кулачном бою на Масленицу попортили. А теперь о себе рассказывай.

– А я от слепца Харитона ушел! – вздохнул Саввушка. – Теперь и возвратиться нельзя.

Поведал он свою нехитрую жизнь, и братаны, даже не поглядев друг на друга, сказали:

– Живи у нас! Пироги да мазюню будешь продавать.

Спал в ту ночь удачливый Саввушка в тепле, Богу благодарные молитвы перед сном нашептывал.

В первом часу дня – в семь утра по-нашему – понесли братаны пироги да мазюню продавать и Саввушке ящик с пирогами дали.

Два раза за пирогами в амбаришко бегали. Все пироги продали. Саввушка сразу понял: дело не в пирогах, мало ли торговцев пирогами, – дело в голосе. Кричи: «Пироги горячи – едят подъячи!» или: «Кипят, шипят, чуть не говорят!» – да так кричи, чтоб других не слышать было, у тебя первого и купят.

Эх, пропади она пропадом, иная удача! Да кто ж знал, что в той удаче сердцевина была с червем. С мохнатым, черным...

Пришли они все в тот же трактир «Под пушками». Братья взяли себе вина: по чарке простого, по чарке доброго, по чарке боярского да по чарке двойного. А Саввушке взяли меду вареного: чарочку красного, да чарочку белого, да ягодного.

Чарочки – хороводом, друзья – косяком. Ахти! Деньжонок, говорилось, нет? Да ради дружка – сережку из ушка. И хоть друга в первый раз видишь и глазки у него, как лиса в клетке, туда-сюда, а всю душу перед ним наизнанку, потому как в друге себя любишь, а коли пьян, так любишь друга больше, чем себя.

Пьяный разговор на Руси зело умен. Трезвому такого и не выдумать, что пьяный, себе на удивление, скажет.

Крестьянин воз сена продал, пузо прорехой прикрыл и тоже «Под пушки».

– Эх, – говорит, – заживу при новом царе! Царь молоденький, добрый, простит, чай, все долги наши!

И давай, давай коней настигивать. И жена-то у него будет в жемчугу, и детки-то у него будут маслом мазаны, а сам-то он все на тройке, на тройке!

Молчун, тугой на одно ухо, терпел-терпел да хват по столу кулаком – ножка из стола и выскочила.

– Замолчи, дурень! Нет такого царя на всем белом свете, чтоб о тебе, голодранце, вспомнил. И этот, молоденький, будет не лучше других.

Тут и брат взвился:

– Как так! Будет жизнь лучше прежней!

– Подметный он, ваш царь! – заревел от ярости тугоухий.

А младший брат, как бык:

– Оттого и лучшая будет жизнь, что подметный. Настоящие цари в Терему сидят, а в Терему окошки красенькие, и весь мир через них красенький. А подметный – промеж мужиков жил, знает, какая жизнь у тяглеца посадского.

И пошло. Одни кричат: подметный царь – хорошо. А другие кричат – брехня, лучше не будет! А третьи – все брехня!

Втор в том кабаке околачивался, тот самый Втор, что царскую милостыню вдове нес да по дороге всю просыпал. Послушал Втор пьяный шум да вышел бочком из кабака. Привел

Плещеева с людьми. На братьев указал. Окружили люди Плещеева стол, а братья и не поймут, чего ради к ним подступаются.

– Садись, ребята! – говорят. – Пей!

А ребята, на каждую руку по пятеро, заломили и сапожным ножом при всем честном народе языки у братанов отрезали. А Плещеев сказал:

– Со всяким такое будет, кто о царе нечестивое как пес брешет!

И велел повару зажарить языки. Подождал, чтоб зажарили и вынесли напоказ. Весь трактир блевал, как с похмелья, на языки жареные глядя.

Саввушка без памяти на полу лежал кровавом.

Очнулся в амбаре. Печь нетоплена. Мыши скребут, братья сидят обнявшись, голова к голове. И во всей Москве тихо. Только мыши скребут.

4

Увидали братья, что очнулся паренек, поманили за собой. Дом рядом с амбаром стоял. На дворе как в трубе – ничего не видно, даже звезд.

Зашли братья в дом, зажгли лучину; потом лампы зажгли в красном углу перед иконами. Встали на колени, на Саввушку обернулись, тот тоже стал. И опять поглядели братья на Саввушку, плачут оба, мычат.

– Господи! – закричал мальчик. – Не знаю, чего хотите! Во имя Отца и Сына!

А братья закивали головами, стали класть поклоны и креститься.

«Был глазами слепых, стал языком безъязыких», – похолодел Саввушка. Он читал молитвы одну за другой, подряд, какие знал от матери, какие выучил у Харитона и его слепцов.

Братья то и дело поднимались с колен, шли в сени выпить квасу: горели страшные раны.

И вдруг тугой на ухо, вернувшись из сеней, ковшом хватил по образам. Все три лампы упали. По полу растекались лужицы горящего масла.

Саввушка кинулся гасить, обжег руки, но никто ему не помогал. Братья топтали ногами, и взмахивали руками, и головами крутили, и хрипели, роняя кровавую слюну. Хватали иконы, бросали под ноги, топтали, раздирали страшные рты в безголосом крике.

Пожара не случилось. Они все уснули на полу, где застал их сон.

Глава четвертая

1

Борис Иванович Морозов глядел, как мастера Оружейной палаты починяют, подновляют трон царя Михаила для царя Алексея. Меняли обшивку, укрепляли расшатавшиеся ножки – царь Михаил был грузен. Торчал Борис Иванович в Золотой палате не потому, что присмотреть за мастерами некому было. Ненароком. Зашел и загляделся. И думки всякие пошли, словно туман ядовитый с болота закучерявился, обволок, утопил с головой.

Прибежал в Золотую палату Афонька Матюшкин:

– Великий государь тебя зовет!

Вздрогнул. Выплыл из своего тумана, пошел за Афонькой, глядел ему в спину.

Новые люди заполняли дворец.

Соплячок этот – ближайший друг царя. Мать Матюшкина и мать Алексея – родные сестры. Сам Афонька с младенчества был стольником царевича, сверстник, учились вместе, играли вместе, на охоту вместе ездили. Вот и вся слава, рода Матюшкины не больно великого. Дед у Афоньки был дьяком в приказе Большого прихода, отец – думный дворянин. Сам

Афонька, слава Богу, ума небольшого, ему бы только с соколами гонять по полям, а то бы и вовсе опасный был человек.

Алексей сидел в своей комнате, глядел в окошко.

– Погода – диво дивное, – сказал и вздохнул.

И Матюшкин, теперь уже стоя за спиной Бориса Ивановича, тоже вздохнул.

«По потехе соколиной тоскуют, – смекнул Борис Иванович. – А поехать можно ли, не знают. Траур».

– Великий государь, развеялся бы ты! – сказал Борис Иванович. – Пока зима не грянула, возьми сокольников да поезжай. По себе знаю, как утешает сердце красная охота с птицами.

– Ах! – привскочил Алексей. – Я ведь и послал за тобой Афоню, чтоб спросить про то.

– Поезжай, великий государь! Никто худого не подумает о тебе. Чай, не в каретах к Троице ходил, пеший. А у меня и подарок тебе готов.

И Матюшкин, и Алексей так и замерли.

– Великий государь, сам бы в поля за тобой поехал, а где ж теперь о полях думать... Города ныне криком кричат о всяческих утеснениях, о городах думать надо, об устройстве их... А ты поезжай, потешься. И подарочек мой прими. С чистым сердцем тебе дарю, великий государь. Кому не известна твоя любовь к охоте этой красной?

– Неужто Гамаюна? – прошептал Алексей.

Борис Иванович, пряча улыбку, поклонился:

– Гамаюном челом бью. Прими.

– О нет! – воскликнул Алексей. – Это разве возможно? Лишить отца моего такого счастья – держать у себя столь великую и прекрасную птицу?

– Государюшко! – прослезился Борис Иванович. – Потому и дарю тебе Гамаюна, что никто другой не поймет, сколь изумителен сей кречет.

– Милый ты! Милый! – Алексей обнял воспитателя, поцеловал в губы. – Не знаю, чем и ответить на твою щедрость.

– Для меня, великий государь, твоей радости довольно, – опять поклонился Борис Иванович.

– Нет, я награжу. За сердце твое ангельское. Землями награжу! – Государь зарделся, заторопился: – Ты столько мне служишь, а я как слепец... Друг мой бесценный, Борис Иванович! Ради Бога, назови землю...

– Государь, смилуйся! Из одной любви служу тебе, радость ты моя единственная! – Морозов упал на колени. – Собираю я земли, чтоб украсить их плодами трудов своих и тебе же вернуть устроенными благолепно, тучными и процветающими! Пожалуй меня на Волге сёлами Мурашкином да Лысковом.

– Жалую, добрый мой человек! Не задумываясь жалую тебе на радость.

У Морозова дыхание перехватило. Такие сёла, такое богатство как с неба упало. Вот что значит быть к солнцу ближе других. Оттого подсолнух и выше трав, что солнцем обогрет более, оттого и глядит он солнцу в глаза, чтоб от земли убежать.

Царь кинулся собираться на соколиную охоту, а Морозов поспешил к делам.

По дороге в свой Иноземный приказ повстречал Илью Даниловича Милославского. Илья Данилович кнутовищем охаживал своего нерадивого возницу. Умудрились колесо потерять. Грязь после дождей была непомерная.

Илье Даниловичу теперь нужно было ступить в эту грязь, чинить возок спешно: не беда, что дорогу загродили, а беда, что загродили дорогу боярину Морозову.

Глядя на красного от ярости дворянина – красивый мужик, статный, – Борис Иванович приказал кучеру втиснуться между домом и возком Милославского и позвал:

– Илья Данилыч, перелазь в мою карету, пока колесо надевают.

Удивленный столь неожиданной честью, Илья Данилович поклонился, вернее, согнулся и ступил на подножку кареты.

– Ко мне, сюда. Я подвинусь! – приглашал Морозов.

Пока Милославский усаживался, Борис Иванович уже успел свою быструю мысль оглядеть со всех сторон, как горшок.

– Илья Данилыч, рад видеть. Хотел посылать за тобой, а ты легок на помине. Сослужи государю службу. В Голландию поезжай, отвези грамоту с известием о воцарении света нашего, великого государя Алексея Михайловича.

Милославский тарашил красивые глупые глаза.

– Отчего такая честь, государь мой Борис Иванович?

– Оттого, что человек ты хороший, быстрый. Молодому царю слуги нужны быстрые и ногами, и головой.

Милославский припал к руке боярина.

– Ну что ты, право! – вздохнул Борис Иванович. – Домой теперь сразу поезжай и собирайся в далекий путь. Три дня на сборы довольно?

– Одного хватит... Да я хорошо съезжу, Борис Иванович! Я же к турецкому султану ездил об Азове говорить, мир добывать. Ладно всё устроили. А потом обо мне забыли. Совсем забыли.

– Добрых слуг не забывают, Илья Данилыч. Службы, видно, хорошей не было, вот и не тревожили.

Бедный возничий, выкупавшись в жиже, разыскал колесо, принес и приладил.

И Морозов все это время ждал, не торопился высадить Милославского. А тот и сообразить не мог, отчего ему такая милость. И о том думал, и о другом, так ничего и не придумал.

А ему бы о дочках своих вспомнить, о красавицах, о Марии да об Анне.

Погрелилась Морозову затея затейливая...

2

Деревянное сухонькое креслице – спинка павлиний хвост, на подлокотниках львиные морды, зевом грозящие, – поскрипывало, повизгивало не умолкая. Хозяин кресла то перевешивался через подлокотник налево, к сундуку, выхватить очередной свиток, то подскакивал разгрести на столе и записать нужную цифирь, а то перегибался через правый подлокотник, где в другом сундуке лежали пухлые деловые книги Российского государства. Читал, вздыхал, подскакивал уже от негодования, ронял книгу, изможденно откидывался на спинку и тотчас, наливаясь яростью, стучал ладонями по львиным головам. Придвигал кресло ближе к столу, ногой отшвыривая фолиант, и замирал, глядя в белый, хорошо побеленный потолок.

Невеселые картины открывались Борису Ивановичу Морозову. Ладно бы – казна пуста, но ведь и взять неоткуда. А взять нужно...

Вот тут-то и проскальзывала в голове Бориса Ивановича мыслишка. И он, вспугнутый мыслишкой, чувствовал себя раздавленным тараканом, уж так ему было мерзко от всей этой тьмы, которая, оказывается, жила где-то в нем, а теперь еще лезла наружу. Мыслишка, впрочем, была и не больно-то гадкая: «Деньги нужно добыть, хотя бы уже потому, что себе на пользу».

Борис Иванович принимался следить за каждой фразой, возникавшей в мозгу.

«Денег нужно взять много. Не возьмешь – грянет беда. Соседи милые, у которых нос и повадки гончей суки, если денег не будет – учуют добычу и кинутся гонять».

Чтобы нарастить государственную мышцу, народу нужна покойная жизнь, но, чтобы добыть покой, нужно ставить крепости, заводить полки иноземного строя, нужно посылать казаков в Сибирь за морским зубом, за соболями, а на все это нужны деньги и деньги».

Круг замыкался, а новый круг был столь же неприятен.

«Нужно стрельцам заплатить – не плачено, донским казакам должны, дворянскому ополчению должны...»

В феврале в Азове был съезд ногайских мурз. На том съезде мурзы стоворились идти на Русь большим набегом.

Москва собрала полки, и весной воевода Яков Куденетович Черкасский двинулся со всей поместной армией на юг – встречать гостей. Прождали все лето, весь сентябрь и дождались: дворянство заколотил озноб недовольства.

Некий поручик Андрей Лазорев прискакал в Москву предупредить: дворяне двинулись, не слушая воевод, на стольный.

...Морозов отыскал челобитную. Собственно, это был только черновик еще не поданного армией прошения. Черновик выкрали и доставили еще раньше того, как прискакал Лазорев.

«Вотчины опустели, дома разорены от войны и сильных людей...»

Ничего нового в требованиях не было. Крестьяне, привыкшие в Смутное время вольничать, покидали бедные земли, бедных своих господ и бежали на монастырские земли, к боярам, к людям у власти.

Быть на земле нищего дворянина – все российское тягло изведать: на царя работай, на церковь Божию, на господина глупого, на татарина лютого, на разбойника захожего, а на себя – что сил станет.

Морозов позвонил в колокольчик.

– Позвать Назария, и поручик тоже пусть придет.

Отодвинулся от стола, прикрыл веки, затих.

И тотчас «мокрица» выползла из щели: «Ближайший боярин... Достиг! Стал вровень с Шереметевым. Но давно ли было время, когда Шереметев носил титул боярина «наитайнейшего»? А ну как Алешенька подрастет? Какой-нибудь Федька Ртищев тоже подрастет... Один подрастет, а другой постареет. Фавориты уходят, солнце царской власти вечно».

– Государь Борис Иванович? – полувопрос-полудоклад.

Морозов приподнял веки: думный дьяк Назарий Чистый в дверях. Голова не поместилась, шею вытянул – гусак гусаком.

– Побеспокоил? – спросил почти испуганно.

– Садись. – Морозов указал глазами на лавку, сам не пошевелился.

– Изволите беспокоиться о приезде польского посла?

– Ох ты! – спохватился Морозов, тотчас оживая. – Еще ведь и посла несет!.. Нет, Назарий, о посольстве и подумать времени не было. А подумать надо крепко. Едет он против хана войну затевать... Вот что: на этой неделе Стрелецкий приказ нужно у Шереметева взять. Да не в конце недели! Сегодня же заготовь грамоту... Деньги нужны, Назарий! Что твои крючкотворы придумали?

Назарий длинными пальцами в тонких перстнях с большими камнями как бы отер губы, но говорить повременил, выжидая, не скажет ли боярин еще чего.

Назарий Чистый был из ярославских купцов. Высочайшее купеческое звание «гостя» получил еще в 1621 году. Больше дюжины «гостей» в одно время не бывало. «Гости» торговали за границей, сбывали царские товары, вносили пошлины, покупали у государства право собирать налоги, заведовали чеканкой монет. Назарий Чистый и среди двенадцати был первым; торговых дел не оставляя, пошел служить и выслужил думного дьяка, а теперь был он при Морозове вершителем многих дел, послы называли его промеж себя «канцлером».

– Так что же вы надумали? – капризно поджимая губы, спросил в нетерпении Морозов.

– Для народного умиления и одобрения мы думаем искать деньги во дворце. – Назарий Чистый подождал окрика, не услышал и поглядел Морозову в глаза. – Убавить слуг следовало

бы не меньше чем на треть. Хотя бы на первое время. Остальным же урезать жалованье. То же произвести и в патриаршем дворе. Можно лишить жалованья городских приказчиков...

– Эти не пропадут, – одобрительно, но мрачно кивнул Морозов. – А коли дворовых слуг сокращать, то мы вправе укоротить оклад господ послов. Укоротим!

– У сторожей нужно хлебное жалованье забрать, распустить приставов, взять жалованье у городских пушкарей – все равно без дела, и крепостные сооружения запущены...

– Ну, а, не дай Бог, нужда в пушках явится? Что же тогда?

– Пушкарям вменить для исполнения службу приставов, а кормиться им тогда будет легко, от частных просительских доходов.

– Мудро! Мудро, Назарий! Только мало. Разве города на эти деньги выстроишь?

– Государь Борис Иванович! Уж если с дерева сучки посбивали, надо дерево и ошкурить... Мы надумали взять денежное жалованье у кого только возможно. У стрелецких голов, сотников, пятидесятников, десятников, у городских стрельцов, у казаков в замосковных, польских и украинских городах, у государевых мастеровых, у кузнецов и плотников – им поденный корм давать, когда будет государево дело, у воротников...

Назарий Чистый все говорил, перечислял, доказывал, а Борис Иванович плохо слушал, «мокрица» его все семейство, кишачье, лохматое, из тьмы вывела. Думалось о таком, что и в кошмаре – кошунство и ад. Будто царева спальня, Алешина, Алеша спит, шейку ребячью свою, с ямкой под головой, вытянул, а он, изверг и сам мокрица, дверь на засов и крадучись к постели, выставив лапы...

«Господи! За какие грехи видением казнишь! – охнул про себя Борис Иванович. – Да ведь, случись что с Алешей, самому первому головенку открутят...» Но это теперь. «Теперь» он боялся за Алешеньку, а мысли-то в «потом» проскакивают. Оно ведь придет выжданное, вымоленное, поклонами отстуканное время, то самое «потом», когда вся власть перельется из многих сосудов в один, когда узы царевых детских привязанностей переплетутся узами родства, – Милославский уже не одну лошадь поменял, стремясь в заграницы.

Борис Иванович пресек-таки бег мысли, сгреб своих «мокриц», но ему на прощанье явилась карающая правдой картина. О такой картине Морозов совсем уже не знал, что есть она в его заглазье. Будто бы Лобное место, плаха, топор в плахе, а на помосте его собственная голова. Глаза мертвы, а губы шевелятся...

Вскочил. Вскакивая, опамятовался, ухватил ниточку разговора. Воскликнул:

– Так ведь стрельцы, Назарий, тебя первого растерзают, а меня вслед за тобой! И заступиться будет некому. – Морозов непочтительно толкнул креслице.

– Если бы просто отняли жалованье – убили бы! Мы же землю даем! – стоял твердо Назарий, не уловив, что Морозов пропустил его речи мимо ушей.

– Ах, земли? – Морозов сел. – Иностранцам тоже ведь можно вместо денег поместья дать? Краффору платим пятьдесят рублей, Гамильтону – тридцать!.. А по сколько земли стрельцам?

– Пятидесятникам по десять четвертей, десятникам по девять, рядовым по восемь.

– Но всех денег взять у служивых нельзя. Пятидесятникам платить в год рубля по четыре придется, десятникам можно по три с полтиной, а стрельцам – не меньше трех. Иначе нам голов не сносить, Назарий. А городские сметы смотрели?

– Смотрели. Да ничего не высмотрели.

– А я вот высмотрел! – Морозов положил руки на свитки, загромоздившие его стол. – Сегодня же пиши грамоту: погасить все недоимки, взыскивая их с воевод, с приказных людей, с подьячих... С умерших воевод тоже взыскивать. С жен воеводских, с детей... Вот погляди. – Морозов развернул столбец. – Устюжская четь... На стольнике Матвее Прозоровском недоимок 1126 рублей 13 алтын, на стольнике Степане Хрущеве 957 рублей 5 алтын, на подьячем Григории Сапсонове 264 рубля 3 алтына 4 деньги, на Михаиле Еропкине, покойнике, стало быть, на детях его, – 346 рублей 3 алтына 4 деньги, на Андрее Волконском, тоже покойник,

царство ему небесное, на жене его – 246 рублей 7 алтын 4 деньги, на Максиме Стрешневе 640 рублей, а на Михаиле Стрешневе и подавно 1533 рубля 9 алтын. Это же деньги! До смерти будем пороть всякого должника, но долг возьмем.

– Города помногу должны, – сказал, вздыхая, Назарий Чистый.

– И с городов возьмем!

– С городов взять рука не поднимается. Вязьма вот челом ударила, я с собой челобитную взял. – Лицо у дьяка подернулось непроницаемостью: не согласен с боярином. – С них берут, с посада, по писцовым книгам 1630 года. Из-за Смоленской войны, на разорение, были им дадены льготы на десять лет...

– Никаких льгот! За десять лет тоже с них взыскать.

– Такой указ мы уже посылали им. Они первый раз били челом в феврале. Просили сделать опись посаду. Государь покойный Вязьму пожаловал, а дьяк сделал свою приписку: «Взять к делу».

– По всем таким делам приписка должна быть одна: «Взять к делу». Пусть бумаги пожелают. Нам сейчас посадские дела решать недосуг. Нам деньги нужны. Не дадут по доброй воле – выколоти́м. Во все упрямые города послать стрельцов! Недели за две чтоб с этим управиться.

– Государь Борис Иванович, а будет ли толк? В Вязьме раньше числилось 500 дворов и 575 плательщиков. Платили они казне 225 рублей 23 алтына 3 деньги. К 1630 году осталось посадских 150, а теперь и того меньше – 116. Из них 38 – дворов вдовьих и охульных. А берут с посада за стрелецкий хлеб – 420 рублей. Ямской приказ пишет им 416 пищальных денег, в приказ Большого прихода подавай 140 рублей, да еще четвертные, а всего получается 1030 рублей. И это вместо 89, если брать не прошлое, а настоящее посада.

– Может, ты сам хочешь за них заплатить? – В голосе Морозова разлилась сладкость. – Ты из Вязьмы сам?

– Нет, я не из Вязьмы.

– Ну и славно. Какая это у них челобитная?

– Третья.

– «Взять к делу» начертано?

– Начертано.

– Вот и возьми эту челобитную к делу, а в город пошли человек двадцать стрельцов. Поставим посад на правож. Поглядим, водятся ли в посадах денежки. Выбьем – нам же легче. Не выбьем – придется что-то делать.

Думный дьяк собирался что-то сказать, но Морозов рта ему раскрыть не дал:

– Назарий, я на тебя как на крепость надеюсь. Наговорили мы тут с тобой много. Пиши указы. Наградой нам за труды – благоденствие государства. Жестокосердным не хочешь прослыть? Так ведь ты слуга царю. Не высечешь мужика, разжалобясь, – соседи разлюбезные с государства порты спустят... Вот и выбирай, кого шадить.

– Благодетель мой, государь Борис Иванович! Помилуй меня, неразумного, и прости. За науку твою век буду Бога молить, чтоб дал тебе долгих лет и всего, о чем помышляешь.

Борис Иванович вздрогнул, глянул в большие серые глаза дьяка: умен, да ведь не может же он мысли читать, такие мысли, что и в словах несказанных не обозначены?

– Назарий, у меня свободные деньги есть. Самая малость. Хочу в рост пустить. Ты ведь в этом деле кудесник. Присоветуй – что?

– Поташное дело сейчас самое прибыльное.

– Поташные заводы советуешь ставить?

– Коли есть свои леса, считай, что не деревья растут – рубли.

– Есть у меня поташные заводы.

– Чтобы большой доход иметь, надо широко брать, надо так брать, чтоб у других заводчиков и духу не хватило тягаться... Тут главное, чтоб капиталу хватило развернуться. А развер-

нешься – барыши успевай считать. Как ручьи в болото бездонное сбегаются, так и тут. Только хлюпнет, из чужих кошельков высасывая. Знаешь, как трясина хлюпает?

«Покуда не царь, деньги нужны! – подумал вдруг Борис Иванович, испуганно вскидывая глаза на дьяка. – Ишь! Опять... «покуда»? Господи, не хочу в цари! Не буду. Как буду – так и погиб. В тот час и погиб. Не хочу!»

Нужно было отпускать Назария, дел ему задал – другому и за год не управиться, да наедине с собой и полминуты быть невозможно, хоть к знахарю беги. К попу с такими мыслями идти отваги не хватит.

– Спасибо тебе, Назарий! – Нашел на столе колокольчик, позвонил.

Тотчас в комнату заглянул подьячий.

– Зови поручика! Пришел поручик? А ты, Назарий, помни... – заторопился Морозов; любил он с людьми с глазу на глаз говорить, людей шло много, приходилось повторяться, но одно дело – повторяться перед собой, а перед другими – все равно что сунуть палец в дверь и самому же дверь прихлопнуть. – Ты, Назарий, вот что помни: мы с тобой телегу не вытянем, других лошадок запрягут. Еще каких лошадок! Об этом всегда помни...

В комнату, согнувшись, чтоб не стукнуться о притолоку, вошел офицер. Этот был еще длиннее Назария. Поручик поклонился. Морозов глядел на него, а говорил Чистому:

– Вечером, Назарий, жду тебя со всеми указами. Времени у нас нет.

Думный дьяк откланялся.

Морозов прикрыл глаза, провел рукой по лицу, как бы снимая лихорадку озабоченности. Поручик Андрей Лазорев даже головой дернул – другой перед ним сидел человек, ну совершенно другой. Слабеющий, добрый старичок, радуясь силе и стати молодого человека – вот оно какое, воинство русское? – поднялся из-за стола, подошел, усадил на лавку, сел рядом, на ту же лавку, положил воину белую слабую ручку на плечо и, поглаживая, стал как бы успокаивать.

– Ах, Господи! – говорил Борис Иванович тихо и проникновенно. – Есть ли лучше слава и доля – служить верой и правдой государю и всему государству! Счастливые вы люди, детки вы наши! Ну, что наша молодость? Смута. Война. Война со своими же, с русскими людьми. Чаше даже с русскими, чем с поляками. Война на своей же земле, разорение своих же крестьян, горящие деревеньки – свои деревеньки... Для вас, дети, мы готовим другую судьбу. Будут бить барабаны, будут реять знамена, будет враг бежать... И наконец-то земля наша Русская обретет свои, древние границы, вернет свои земли, разорванные междоусобицей неистовых предков... Но ведь может статься – опять раздеремся между собой, растратив свою чудную силу на злобу друг против друга. И уж новой смуты не перетерпеть нашему уставшему народу, а не быть тогда русскому царству не только щитом Божиим против всех нехристей, но и вообще не быть.

– Да как же это так? – удивился Андрей Лазорев.

– А ты сам подумай. Привалит на днях бунтующее дворянство в Москву – это опора-то царю и православию? Пойдут грабежи и убийства, подстрекательства, партии станут составляться... Всё как в смуту... Ведь сами небось не знают, чего хотят и почему.

– Ну, как не знают? – возразил простодушно Андрей Лазорев.

Был этот малый рус, синеглаз, румян, губы пухленькие – только бы миловаться.

– А чего ж хотят эти горе-воины? Навоевать не навоевали, а беспокойства от них – как от татарского нашествия.

– Да как же им не шуметь? Одно ведь только звание – дворянин. Все пообносились, отошали. Лошадь и то не у каждого.

– Отчего же ты не с ними? Отчего сюда прискакал о буре известить?

– У меня... – Лазорев замялся, не зная, как называть боярина.

– Зови меня отцом, – помог ему Морозов.

– У меня в деревеньке одна мать живет да странники, утомившиеся от хождений. Сообща живут, сообща от трудов своих и кормятся... Крестьяне давно уже все утекли. Да и было пол-

тора десятка душ. А здесь я потому, отец мой, что клятву дал царю служить, а не мамоне. Мне и родной отец, умирая, заповедал – царю служить, о себе не помня.

У Морозова глазки как пауки обволокли малого: неужто, бестия, не врет? И чудно – не видел игры затаенного ума...

– Ну, а что бы ты сам для дворянства сделал, если бы, скажем, местами мы с тобой поменялись.

– Я бы его, отец мой, прости за дерзость, палкой бы! За такую службу палкой бы! А потом, конечно, наградил. Теперь ведь не поймешь, есть ли урочные годы крестьян своих сыскивать, нет ли. Вправе ли искать своих беглецов? Или что с возу упало, то уж и пропало? Все хотят, чтоб на крестьянах крепость была твердая, лет на десять чтоб крепость была, не меньше.

– А вот скажи теперь, что же царю нашему, соколу молодому, делать? – пытал Морозов. – Дворяне крепости хотят на крестьян, а крестьяне хотят выхода. Ждут. Еще как ждут!

Андрей Лазорев запыхтел:

– Без дворянства, без силы, врагу супротивной, державе не быть. Дурят крестьяне, да ведь лошадь, когда ее объезжают, тоже норовит седока скинуть. Тут Божий промысел, нашему разумению недоступный: родили тебя крестьянином, так чего же на господина зверем глядеть? На судьбу обижаться грех.

– Да ты умный человек! – воскликнул Морозов, ожидавший, что простодушие, высканное поручиком, от избытка силы и от малого ума. – А что же князь Яков Куденетович, большой ваш воевода? Что же он не остановил волнение?

Поручик вдруг встал:

– Позволь, боярин, отец мой, позволь испросить у тебя милости – в глаза тебе поглядеть.

Морозов пуще удивился:

– Ну погляди.

Ясная, до самого дна ясная синева устремилась на боярина. Глядел долго, и Борис Иванович заерзал:

– Что усмотрел?

– Ладно, – сказал поручик, – я знаю, у вас, бояр, хитрости, как воды в море, немерено. Только знай, боярин, отец мой, я говорю не ради того, чтоб награду у сильного сыскать, а ради государевой правды. Мне почудилось, князь Черкасский, Яков Куденетович, и разжигает страсти. Его люди на сборищах самые шумливые.

«Чужало мое сердце», – подумал Морозов и спросил:

– Отчего же ты на князя Черкасского грешишь, разве он враг молодому царю? Ведь он двоюродный брат князя Ивана Борисовича Черкасского, а тот был двоюродным братом царю Михаилу Федоровичу.

– Что видел, о том и говорю. Князь против царя умысла не имеет, а вот с кем из бояр он хочет счесть, это тебе, отец мой, лучше знать.

– Да-а! – развел руками Борис Иванович и поглядел на поручика. – Огорчил ты нас своими известиями, но горькая правда дороже сладкой лжи... Вот что, Андрей Лазорев, от меня выйдешь, скажи дьяку, чтоб написал бумагу тебе. Будешь служить в моем Иноземном приказе. Правду у нас не больно где любят, но у Морозова правда в чести. Знай это и получи.

Морозов подошел к ларцу, стоявшему за его креслом, отпер замок, открыл крышку, достал суконный мешочек.

– Лови! – кинул деньги Андрею Лазореву.

Тот поймал, зарделся, сделал шаг вперед и положил мешочек на стол.

– Прости, отец. Не подумай, что гордыней обуян. Только я не ради денег старался, скакал в Москву. Прости...

Поручик, пригнув голову, попятился к дверям.

– Стой! – грозно окликнул Борис Иванович. И опять это был другой человек. Властный правитель стоял перед дворянином. – Возьми деньги. Это твое жалованье. Тебе и платье новое придется купить, и лошадь добрую. Мой полк иноземного строя – дворянскому ополчению не чета.

– Рад служить государю и тебе боярин, отец мой! – Глаза у поручика засияли безмятежностью; шагнув к столу, взял деньги и, грохая сапогами, выскочил за дверь.

Борис Иванович поставил локти на спинку своего кресла, положил бороду на ладони, покачал головой:

– Ах, Яков Куденетович! Мы вас в бояре, а вы на нас – войско. А ведь мы вас гусиным перышком сейчас вот и расколотим в пух и прах.

Морозов решительно сел за стол, смахнул столбцы и книги, достал бумагу и полетел по ней пером:

«1. Сохранить урочные годы на десять лет.

2. Послать в Московский уезд и во все города стольников и дворян добрых, которые должны переписать все тягловое население, крестьян и бобылей, за кем сидели раньше, а не теперь сидят.

3. Как перепишут, по тем переписным книгам крестьяне, и бобыли, и их дети будут крепки без урочных лет».

Отбросил перо, встал, вышел из своей комнаты в комнату, где сидели дьяк и подьячие.

Все, кто был тут, вскочили, приветствуя боярина. Морозов махнул рукой, чтоб сели, подошел к столу дьяка:

– По моей этой записи немедля составить указ. А я домой – устал сегодня.

На некоем пустырьке, не доезжая до дома, Борис Иванович пересел в закрытую старенькую каретку и поехал на окраину, к Земляному валу. Карета заехала в открытые ворота, на пустынный двор весьма неприметного, новой постройки, но совершенно безликого дома.

Во дворе, кланяясь, встретили его молчаливые, но весьма понятливые люди. Отворяли перед ним двери не мешкая, почтительно, но без церемоний. Он прошел в дальние покои, в комнатку, обитую красным ярким сукном, сел к изразцовой печи, уже предусмотрительно затопленной, хотя холода большие еще не наступили. Сел на низенькую, со спинкой, мягкую скамеечку, взял легкое сухое полено, рассек его надвое острым топориком и положил обе половинки в печь.

За спиной боярина отворилась дверь, кто-то вошел, встал у порога.

– Подойди ближе, – сказал боярин, не поворачиваясь, но глянув в зеркало. – Говори.

Человек покашлял, поерзал сапогом по полу. Был он в красном бархатном кафтане с двуглавым золотым орлом на груди – сокольничий царя.

– Великий государь, – сказал тихо сокольничий, – изволил сегодня молиться: ловлей птиц и охотничьей потехой себя не тешил. С ним на молитве был стольник Федька Ртищев и кожеозерский игумен Никон. Слышал я, говорили, что великий государь обещал поставить его игуменом в Новоспасский монастырь.

– С Никоном о чем беседы были?

– Не ведаю. Они всю ночь вдвоем молились.

– А Федор зачем приезжал?

– Смилуйся, господин. Тоже не ведаю. Мы люди маленькие. Государя издали зрим.

– Как здоровье-то хоть у государя, про это ведаете?

– Здоровье будто ничего. Крепенький. Румяный. Разве что от поста послабел, государь-то наш великий. Они с Никоном все три дня постились.

– Никон все три дня при государе?

– Все три дня.

– Ступай! Береги государя. Особенно на ловле. Да смотри не за птицами гляди, за ангелом нашим. Ступай!

Сокольник тихо вышел.

Морозов расколол еще одно полено, поразмыслил, расколол и половинки надвое. Огонь в печи стал светлым, высоким.

Дверь снова отворилась. Вошел монах, неопрятный, косматый, но по глазам если судить – умный человек.

– Федор Иванович Шереметев всю неделю хворал. Взаправду хворал, доктора немецкие к нему приезжали, и знахарь у него был, из монастыря тоже, святой целитель. А вчера был у него боярин Никита Иванович Одоевский. О тебе, боярин, говорили.

– Что?.. Да ты не мнись, говори их словами, прибавишь – грех на тебе, и убавишь – тоже.

– Говорили, что ты зело умен, боярин. Но ум твой пойдет России во вред. Неродовитый, мол, человек приведет к власти людей умных, да все волчат. Будут хватать что придется. До того нахватаются, что, пожалуй, не переварив, околеют. И смеялись очень.

– Это кто же так говорил, Федор Иванович или Никита Иванович?

– Никита Иванович молчал.

– Но смеялся?

– Смеялся.

– Что же они решили?

– Решили, что самое верное для них дело – подождать, покуда волчата...

– Ладно, ступай и ты... Стой! Еще нечего сказать?

– Федор Иванович удивлялся все: «Отчего это у меня приказы никак не заберут?»

– Всему свое время. Ступай!

Третьим был Плещеев. Борис Иванович подвинулся на своей скамеечке.

– Садись, Леонтий Стефанович! Люблю на огонек поглядеть. Дымком как бы голову прочищает от всякой дряни. Что Москва уличная? Чем живет?

Плещеев росточка был малюсенького. Складный, в движениях решительный. Глаза узкие, горячие. Такой всякое дело в сердцах делает, как бы на кого распалясь, как бы с обидой. Дай такому чего построить, ни за что под крышу не подведет, отвлечется, расхолодится, а вот если дать ему разрушить – разрушит скоро, и не по одному приказу, а еще и по личной своей охоте.

– Прищучил я говорильщиков, теперь помалкивают про царевича подкидного. Правду сказать, другой теперь шепоток объявился.

– Так, так, – одобрил Морозов, настораживаясь, даже рукой ухо свое как бы поправил.

– Человек мне один, весьма проворный, служит.

– Кто таков?

– Некий Втор, племяш игумена Троице-Сергиева монастыря.

– Что же он говорит?

– Сегодня доложил, будто бы грамотку в одном кабаке читали, от законного будто бы наследника престолу, так в грамоте написано, от сына царя Василия Шуйского, Тимофея.

– Ишь, негодник! Все в сыновьях ходит. Как только не стыдно человеку... Тимошка этот – бывший подьячий Посольского приказа, по фамилии Анкудинов. Нашкодил в Москве – жену живьем в доме сжег – и убежал в Литву. Литве лжедети наших царей надоели, и пришлось ему другой раз бежать к молдавскому господарю, а Василий Лупу – хитрей хитрого, ему бы и султану угодить, и нашего государя ласку не потерять. Туркам беглеца передал... А Тимошка, не будь дурнем, пообещал султану, если тот поможет ему сесть на Московское царство, Казань и Астрахань со всеми людьми и землями... Вот кто он такой, Анкудинов.

– Пресекать? Ловить? – Плещеев преданно вытаращился на боярина.

– Ловить и пресекать!

– Свет наш, Борис Иванович! Я служу тебе, живота не щадя...

– Не торопи, Леонтий Стефанович! Сам знаешь, поспешить – людей насмешить. Я тебе обещаю такую службу, что терпение твое будет десятикратно вознаграждено.

– Борис Иванович! Благодетель! Помилуй, да я не о себе собирался говорить, о родственнике своем, о Траханиотове.

– Я обо всех помню, и всему свое время.

Плещеев понял: затеял он разговор не в добрый час и, чтоб скакнуть хоть куда, лишь бы в сторону, брякнул:

– Я сегодня волхва изловил. Его купец Малышев нанял напускать злые чары на врага своего, купца Мордворотова. Мордворотову о кознях шепнули, он волхва изловил и принялся при всем честном народе убивать. Еле отнял.

– А что же он, волхв твой, и впрямь чародей?

– Может, и вправду чародей... Соломоновой звезде поклоняется, о шести концах которой.

– Где он у тебя?

– С собой прихватил, испросить твоего повеления.

– Приведи.

Плещеев кинулся за своим пленником.

Костлявое существо с провалившимися щеками, кафтанчик на спине разорван надвое: кто-то по-медвежьей лапой махнул. Нос – осетром, в красных крапинах, воспаленные, красненькие крошечные глаза обмывали осетру-носу бока. Рот безгубый: щелочка, а не рот.

Чародей, охнув, склонился перед боярином. Охнув, разогнулся. Били его, видно, всласть.

– Правда ли, что ты волхвуешь? – сказал Морозов. – Можешь ли ты из железа сделать золото?

– Смилуйтесь, господин! – Голос у чародея по его плоти никак не подходящий – густой, ровный. – В Европе много бродит обманщиков, которые обещают золотые горы доверчивым князькам. Я могу поставить на ноги запущенное хозяйство.

– Ты говоришь, что не знаешь чародейства, а сам напускал дурное на купца?

– О господин! Я вижу, вы человек мудрый. Вам нетрудно, посмотрев на меня, понять, что в моем положении можно было взяться и покойника воскрешать. Я был голоден.

– Кто ты?

– Я был среди купцов из Константинополя. По дороге нас ограбили казаки, а потом еще раз ограбили. Кажется, уже татары. Почти все мои спутники были убиты или взяты в рабство. Я притворился мертвым, спасся, но остался гол среди поля. Одежду с меня сорвали... Ваши добрые крестьяне дали мне одежду, кусок хлеба и указали дорогу к большим городам.

– Отчего ты так хорошо говоришь по-русски?

– В Константинополе я оказывал всякие услуги русским паломникам. Чтобы приносить им наибольшую пользу, я выучил язык. Они столько рассказывали мне об изобилии и благолепии Московии, что я крестился в православие и отправился в далекий и опасный путь. Увы мне! Увы!

– Тебе не понравилась Москва?

– Москва – лучший город вселенной, но у меня ни дома, ни друзей.

– Сколько рассказывают о чудесах восточного волхвования. Жаль, что ты не знаешь этой науки.

– Я, верно, не знаю черной магии, но я все же кое-что умею. То есть это совсем не колдовство, даже наоборот! – Чуть ли не постукивая костями, неудачливый путешественник подскочил к Плещееву. – Умоляю! Не погнушайтесь! Возьмите меня за кисть пальцами.

– Возьми, – кивнул Морозов.

Плещеев сдал руку своего пленника.

– Очень хорошо, – сказал тот, – так и держите. Думайте обо мне! Только обо мне... Так! «Отвратителен, но, чуется мое сердце, он пойдет далеко!» – вот что вы подумали. Я сказал неправду? – Пленник заглянул в глаза своему властелину.

Плещеев покраснел.

– Он угадал? – спросил Морозов, поднимаясь со своей скамеечки. – Да не таись ты!

– Слово в слово.

– Ну-ка возьми меня за руку! – решил Морозов. – Думать о тебе?

– Пусть ваша милость думает о чем угодно.

Угадывальщик набычил голову, глазницы у него наполнились слезами, глаза помутнели, на впалых висках проступили толстые синие жилы. Он выдернул вдруг руку из руки боярина, отошел к стене:

– Ваша милость изволили думать вот что: «Я его обману, шельму! «Отче наш, иже еси на небеси...» А ведь он не дурак. «Отче наш, иже еси на небеси...» А на что бы он мог пригодиться... «Отче наш, иже еси...» – Угадывальщик повернулся к Морозову: – Дальше я могу спутать. – И умными глазами посмотрел на боярина.

Морозов стоял, словно его громом ударило.

– Это не чародейство! – испугался угадывальщик. – Это любой человек сумеет, только нужно...

– Черту душу заложить! – подсказал Плещеев.

Несчастный еврей упал на колени.

– Оставь мне его! – сказал Морозов Плещееву. – Тут колдовства нет. На нас с тобой кресты, в комнате иконы. Лови тех, кто о Тимошке болтает.

Плещеев, поклонясь, ушел.

Морозов долго бесцеремонно разглядывал угадывальщика.

– А что, если я тебя управляющим поставлю? Какие ты мне доходы обещаешь?

– Ваша милость! От великой радости, что мне сохранена жизнь и что наконец-то я буду иметь крышу над головой, надо было бы обещать двойные доходы. Но я честный человек, я хочу посмотреть сначала то хозяйство, которым буду управлять. Я ведь действительно не колдун.

– А мне как раз колдун нужен! – мрачно сказал Морозов.

– Ах, ну если так! Позвольте подняться с колен?

– Вставай! Тебя никто не ставил.

– Ваша милость, в жизни столько превратностей, никогда ведь не знаешь, где тебя ждет награда, а где плаха... Я учился всему и у всех. Я думал так: маленькому человеку любое умение когда-нибудь да и сослужит добрую службу... Упаси меня Бог! Я никогда не связывался с Сатаной, Вельзевулом, Люцифером, а вот с Астаротом, сообщающим о прошедшем и о будущем, я завел некоторые отношения. С Бельфегором еще – это гений открытий. Мне противны Асмодей, Ваал, Адраммелех, Самаелл! Ибо первый есть черный ангел-истребитель, а второй – дух адских легионов, а третий – канцлер ада, четвертый же, как известно, – истребитель новорожденных... Ничего злого я совершить поэтому не умею. Но я умею предсказать будущее, могу изготовить талисман счастья, талисман для приобретения покровительства коронованных особ, талисман для взятия неприступных крепостей...

– Ступай садись в мою карету! Я знаю, ты будешь верно служить, ведь по тебе костер плачет! Нигде ты такой защиты не найдешь, как у Бориса Ивановича.

Сказал и поморщился: «На тройке несет! Того и гляди, совсем вожжи потеряешь. Экое глупое бахвальство, хотя все это правда истинная».

3

Для первой своей царской охоты избрал государь Алексей Михайлович красную охоту соколиную. И место выбрал красное – в семи верстах от Пресненской заставы и села Хорошова. О Хорошове всяк присказку скажет: «Хорошо Хорошово, да не наше, а царёво».

Чтоб лишних толков в народе не было, – мол, не успел отца с матерью похоронить, а уже потеху завел, – взял с собою Алексей Михайлович не весь свой сокольничий полк, а только Петра Семеныча Хомякова, начальника над сокольничими, самого зоркого человека, может, во всей России, взял великого любителя соколиной потехи князя Юрия Ромадановского, Матюшкина, вестимо, да четырех простых сокольников: Михея, Терентия, Парфения Тоболина, Ярыжкина Ивана.

Подарила осень последний, видно, в том году чудный день. Октябрю имя – грязник, ни колеса, ни полоза. А тут уже Прасковья Пятница – день от ночи пятится, на Казанскую дождик шел, все луночки залил – верный знак скорой зимы, а вместо зимы лето воротилось.

Теплынь, хоть кафтан скидай! Небо – как полынья, чистое, синее, безмерной глубины, радости беспричинной.

В поле сквозняк, но не тот, что через поры до самых костей пробирает, а тот, который с рыву, с маху дерзнет по спине лапой, и уж тут не от холода вздрогнешь, а от пробужденной молодой своей силы.

С четырьмя всего птицами поехали. Со старым челигом – этого Алексей Михайлович пожалел: до весны-то, может, и не доживет; с кречетом Свертяем, с новым челигом, безмянным, да с красным кречетом Гамаюном.

Соколиная охота верховая. Без коня делать в поле нечего. Птица с поднебесья словно по лучу съезжает, за добрых полверсты от места боя, бывает, приземлится; пока пробежишь, от добычи лишь перья, и добытчик уже не охотник.

Алексей Михайлович, как выехал, все спешил, все в рысь пускал коня, а в поле забыл про узду. Тихо ехал.

Голова кружилась у царя от простора, от сини, от будущей радости соколиного лёта. И пора бы уж птиц пускать, а все медлил, продлевал муку ожидания.

Сердце аж заколотилось, когда обернулся к Ярыжкину с его Свертяем:

– Пускай!

Ярыжkin снял с глаз птицы клобучок, поднял рукавицу. Кречет, белoshелковый, черноокий, как колдун, зыркнул глазами окрест и кинулся в небо.

Свертяй, конечно, видел: не один он в небе, ворон в синеструе плавает, выглядывает сверху пададь. Но Свертяй был замечательным кречетом. Он не кинулся на добычу. Он словно бы и знать о ней ничего не хотел, пока не утолит своей первой радости – высокого лёта. Кречет взмывал ругами. А Алексей Михайлович, следя за ним, обмирал от восторга.

Птица, плавая, винтом всходила с высоты на высоту, и глаза стали терять ее.

– Великого верха достиг! – шептал Алексей Михайлович, следя из-под руки. – Господи! Точка! Совсем точка! Пропал! Петр Семенович, ты-то видишь?

– Ну как не видеть? Твоему величеству на радость на такой верх забрался...

– Молчи! Молчи! – замахал руками Алексей Михайлович, словно говор людской мог помешать тому, что должно было произойти в следующее мгновение.

Кречет замер, прицеливаясь, и кинулся камнем на ворона, который хоть и умен, да не учуял беды.

Удар пришелся в крыло. Ворон закувыркался, но Свертяй догнал его, еще раз ударил, распарывая от хвоста до шеи. Снизу казалось, что бьет кречет грудью. На самом же деле он рубил жертву прижатыми к груди острыми, как ножи, когтями.

Убитый ворон все еще падал, а Свертяй уже взмывал ввысь, чтоб лучше углядеть, куда рухнула жертва. Забрать Свертяя поскакал Ярыжкин, а охотники, утешенные удачей, взяли галопом к озерцам. Вспугнули двух уток.

– Михей, твоего пускай, молодого! – решил Алексей Михайлович.

Молодой челиг сделал круг, а второго не закончил; увидал уток, забыл о небе, кинулся на селезня. Закогтил, понес.

– Глупый! Глупый и глупый! – сокрушался Алексей Михайлович. – Одной даже ставки не сделал. – До того огорчился, что слезы на глазах выступили.

Петр Семенович Хомяков, чтоб унять цареву досаду, подъехал к нему с Гамаюном.

– Ах ты, Господи! Боже великий! – Царь тотчас забыл о глупом челиге. – Помыслить о такой красоте невозможно, а она – явь. Нет таких слов, чтоб красоту невозможную эту пересказать. Гляжу на него, а в груди слезы хлопают! Восторг неизреченный!

Гамаюн, как бы раздумавшись о некоей загадке, сидел на рукавице Петра Семеновича, белый, благороднейшей стати, черные глаза его были горячее, чем у сородичей. Глаза сияли, но не по-звериному и не по-человечески, в них был нездешний ум, да и кто знает, с какого неба опустилась на землю эта птица. Одно о ней ведомо: из Сибири. А Сибирь – тайна и тайна. Необузданный, уму неподвластный простор дремучих лесов, океан туманов, вечной ночи, вечной зимы.

Петр Семенович пустил кречета.

– Этому не надо дичи спугивать. Этот сам найдет! – приговаривал сокольничий начальник, трогая лошадь.

Гамаюн широкими кругами плыл и вдаль и ввысь. Он замер вдруг, паря на небольшой еще высоте, словно позволял людишкам полюбоваться собой. И опять принялся закручивать незримую пружину.

– Летит, а за ним как бы след! – подивился Алексей Михайлович. – Верно, Петр Семенович?

– Такая уж птица! – согласился Хомяков.

Гамаюн сделал ставку в порядочном верху, но остался недоволен высотой и стал забирать еще и еще.

– Не вижу! – воскликнул государь. – Матюшкин, Федька! Ты видишь? Князь Юрий?

– Уж не улететь ли вздумал? – испугался Матюшкин.

– Петр Семеныч, ты-то как?

– Я-то? Вижу еще! Только и мне теперь не понять, то ли все поднимается, то ли ставку сделал.

– Падает! – закричал государь. – Падает!

Охотники шарили глазами по небу, выискивая птицу, которую выбрал Гамаюн.

– Коршак! Вон коршак! – кричал государь. – В великом верху! Петр Семеныч, миленький...

– Вижу, государь!

Гамаюн бил коршака жестоко, но не до смерти. Он наносил рану, взлетал, делал ставку и падал. Несчастный хищник стал добычей другого хищника. Трепеща в предсмертной агонии, коршак падал, с каждым мгновением набирая скорость. А Гамаюн шел опять вверх. Замер, и словно клинком полоснуло по небу. Кинулся в последний раз и вырвал жертву в двух саженьях от земли.

– Слава! Слава! – Государь кинул с головы шапку, помчался к птице.

Матюшкин, князь Юрий и сокольники – за ним, а Петр Семенович – за царевой шапкой.

Старого челига тоже пускали. Челиг кречатый – самец кречета, самцы не столь прекрасны видом, и охотники они похуже. Но старый челиг не подвел. Добыл государю две совки. На одну

совку ставок у челига было пятнадцать, расшиб в таком великом верху, что – где упала – не искали, а на вторую совку было двадцать. Вырвал ее старый челиг у самой земли.

Глава пятая

1

Братьев-пирожников свалила горячка. Тот, что был тугой на ухо, сгорал безропотно. Очнется, разлепит губы, глазами Саввушку ищет, а тот уже воды несет. С младшим братом беда. Мечется, бредит, а то с постели соскочит и пускает по избе что только под руку попадет.

Саввушке страшно, а куда деваться? Мыслимо ли оставить одних не помнящих себя горемык. Соседи, торгоши мелкие, отшатнулись. Ни один проведать болящих смелости не набрался.

Да и как их осудить, соседей. Языки урезают врагам самого государя, предрезостным врагам. А ведь у каждого язык один, второй не вырастет.

Перемена царя – все равно что ледостав. Станет река, утихомирится – тогда и кажи нос из берложки-то! А пока крутит да вертит – сиди. На маленьком человеке невесть за что могут отыграться.

Голодать Саввушка не голодал. В амбаре у братьев и мука была, и репа, и пшено. Куры неслись. В курятнике и отсиживался, когда меньшей в беспамятстве избу громил.

Саввушка хоть и боялся буйного брата, а жалел не меньше. Тряпицы мокрые на головы обоим клал, за обоих перед образами молился. Отобьет за одного брата, тугоухого, сто поклонов, а потом и за буйного – сотню же.

Смилоствовался Господь, отвел болезнь, а Саввушке новое испытание. Он в курятнике каждый день, а на дню-то раза по три, а то и по четыре и по пять сидя, привык к курам. Сколько слез пролил перед рябыми да хохлатыми. Они ему в ответ: «Ко-ко-ко! Куррр». На душе-то и полегчает.

И вот хоть в голос плачь, а утешителям – головы долой. Человеку после болезни еды нужно немного, но чтоб в еде крепость была, без куриного варева не обойтись.

Братья на Саввушку глядят, как он по дому хлопочет, радуются. Мимо идет – притянут, посадят возле себя на кровать, по голове гладят. Ручку его к сердцу своему прикладывают.

Тут еще вспомнилось Саввушке верное средство от лихорадки. Стал он паутину по углам собирать, толочь и поить братьев. Болезнь-то и совсем прошла: то ли от лечения, то ли время ей было, красноглазой, убираться.

Тугой на ухо вставать начал, по дому Саввушке помогать. А другой брат и посильнее, и болезнь одолел раньше, но ни к чему рук не прикладывал. Или в потолок, лежа, глядит, или сядет возле окошка, палец в слюне мочит и трет слюну. Сидел он так однажды... да как застонет, как заскрипит зубами, словно ворота на ржавых петлях распахнул.

Тут-то Саввушка и сообразил наконец: не знает он, как братьев зовут. И стыдно, и горько – не знает. Спросить не у кого. Стоит Саввушке на улицу выйти, улица и пустеет.

А тут новая беда.

Однажды младший брат сидел-сидел у окошка да и вскочил, глаза круглые, кинулся за печь, топор нашарил и на улицу бежать. Тугой на ухо во дворе за подол рубахи успел его ухватить. Затащил в избу, а буян мычит, рвется:

– Гы-ы-ы! Гу-у-у!

Задрожал весь, перекорежился, топор взмах на брата. Метнулся Саввушка, как бельчонок, – на топорище повис.

...Плакали братья. Саввушку целовали. А потом достали из сундуков обновы, вырядились и один свой кафтан обкорнали, подарили мальчику.

В церковь пошли. Вечерню отстояли.

На братьев поглядывают, но украдкой. Возле братьев – простор. Прихожане от них – как мыши от кошки, лишь бы рядом не оказаться. И шепоток: «Плещеев, человек боярина Морозова, языки резал».

Молились братья смиренно, на коленях.

А выходить из церкви стали, увидел младший брат с паперти дворянчика-щеголя. Гарцевал на коне мимо церкви молодцам напоказ.

– Гы-ы-ы!

Людей вокруг себя меньшей хватает, на дворянина пальцем тычет, как бы науськивает. Все шарахаются. Кинулся было следом за щеголем, но старший брат удержал-таки.

Дома лампаду зажгли. Повечеряли. Тихо, славно.

И тут пришло старшему на ум тесто для пирожков ставить.

Младший брат отвернулся. Лег в потолок глядеть. А нагледевшись, вскочил, схватил бадю с тестом и выкинул за дверь.

– Гы-ы-ш-ш! – зашипел, как гусак, тугой на ухо да и вдарил ладонью брата по плечу.

Младший так и сел. Да тотчас вскочил, за рогач и рогачом печь крушить.

Сцепились братья, рухнули на пол, катаются, давят друг друга, душат.

Закричал Саввушка, кинулся из дому. А ведь осень, грязь, темень.

Прислонился к забору и заскулил: ни зги! Куда бежать? Кто поможет?

Вдруг зачавкала грязюка.

– Эй, кто сопли распустил? – Человек взял Саввушку за шиворот и поднял, чтоб самому не нагибаться. – Стряслось, что ли, чего?

– Убивают они друг дружку. Богом тебя молю, спаси!

Человек поставил мальчишку на землю, подумал:

– Переночевать место есть?

– На всю дюжину места хватит!

– Пошли.

Лампадка раскачивалась. Стол и лавки завалились. Два медведя на четвереньках пыхтели, упиравсь друг в друга башками.

– Да в темноте и смазать как следует невозможно! – захохотал человек. – А ну-ка, Божия душа, где ты? Запали огонь, чтоб мимо рожи кулаки не летали.

Саввушка метнулся к печурке, зажег лучину.

Братья отползли друг от друга.

Свет лучины выхватывал разбитые в кровь лица.

– Спьянели, что ли? – спросил человек, поднимая лавку и стол.

– Не пили, – сказал Саввушка. – Из церкви пришли и разодрались.

– Не поделили-то чего?

Саввушка разглядел: на человеке иноземный, в позументах, мундир, сапоги высокие, с раструбами, на руках перчатки, на боку шпага. Шляпу человек кинул на стол.

– Берегись! – крикнул вдруг Саввушка.

Невзлюбивший дворянчиков меньшей брат, не спуская глаз с незнакомца, тянулся к ножу. Нож, видно, упал со стола. Как только в драке не подхватили!

Офицер, сидя, ботфортом шмякнул по руке татя.

– Они что, разбойники? – не теряя веселости, спросил незнакомец.

Тут Саввушка упал на колени:

– Помилосердуй! Он не виноват! Им языки Плещеев отрезал.

Человек поежилась, улыбка сошла с его лица.

– За что же так?

– Они в кабаке спорили. Один говорил, что царь даст крестьянам волю, выход, а другой говорил, что все останется как было.

– Откуда знаешь, что Плещеев языки резал?

– В церкви слышал.

Офицер встал, потупил глаза и вдруг быстро поклонился тихому брату и буйному тоже:

– Не виноват, а прощения у вас прошу.

Опять задумался. Махнул рукой:

– Э-э! Если думать про все такое, служить будет невмочь. Спать лягу. Я в городе первый день, вы уж приютите.

Тугой на ухо согласно кивнул.

– Вот и славно... Пожалуй, на печи лягу, а то, – кивнул на меньшого, – как бы среди ночи не соблазнился глотку мне перехватить...

– Я с тобой полезу, – встрепенулся Саввушка.

– Ты кем же им доводишься? Сын? Бабы-то есть в доме?

– Не женаты они. Я – приبلудный. Они меня взяли к себе, а тут вон чего приключилось.

– Давай-ка, брат, спать! Тебя как зовут-то?

– Саввушка.

– А меня – Андреем. Иноземного полка поручик Андрей Лазорев! – Поручик хмыкнул с веселым удивлением и тотчас захрапел.

2

Проснулся Саввушка в великой радости.

Всю ночь ему дом снился. Матушка в сарафане золотистом, в кокошнике, молодая, щеки круглые, ласковая. Братишки да сестренки за столом сидят, из двух чашек кашу едят пшенную, масленую, по краю с корочкой. У всех ребятишек головы гребнем частым чесаны, рубашки да платья на всех новые, братишки в сапожках, сестренки в желтиках. И будто бы и отец где-то близко, смотрит на семью, улыбается...

Спохватился Саввушка: «Разыскать бы отца, поглядеть бы на него живыми глазами, он, может, и оживет». Где только не лазил ночь напролет, по чуланам, в подполье, под печкой, в печурки заглядывал, под лавки, в сундук... И уж вроде бы найти должен был. Все к этому сходилось... Да черная сила как застучит в двери – Саввушка и проснулся.

Лежит и никак от сна не отойдет. Хорошо ему – своих видел – и горько – не успел на отца живыми глазами поглядеть...

Светло уже, печь теплая, во чреве ее гудит пламя. А тугой на ухо, старшой, в ступе сушеную репу для мазюни толчет.

Саввушка прыгнул с печи; ночной благодетель исчез, не разбудил попрощаться.

Саввушка покрестился на иконы, вышел во двор по нужде.

Где-то в центре Москвы играла веселая музыка.

«Видно, вернулось войско, ходившее крымцев перехватывать», – догадался Саввушка. Ему хотелось побежать поглядеть, но боялся он оставить братьев одних. Старшой, кажись, переупрямил, печет пирожки, а там как знать...

Когда Саввушка вернулся в избу, младший брат сидел у окна, чинил распоровшуюся под мышкой шубу.

Мальчик умылся в темном углу, за печью, подошел к раскрасневшемуся от жаркого огня старшому.

– Я – вот он, чего мне сделать?

Старшой улыбнулся Саввушке и показал на лавку у стола.

Завтракать сели вместе. Старшой уже и шей успел наварить, и каши.

Братья ели трудно, давились, как гусаки. Саввушка то в чашку глазами упрется, то в окошко, чтоб на них не глядеть.

Вдруг ему показалось – по двору ходят люди.

– Там кто-то пришел, – сказал он братьям.

Старшой отложил ложку, пошел поглядеть. Вернулся бегом, толкнул брата в плечо, сам за топор, а брату на пестик в ступе показывает.

Саввушка тоже из-за стола выскочил, ухват в руки – и за братьями следом.

Во дворе пятеро молодцов из дворянского ополчения сбивали замки с амбаров и подклетей. С саблями, с пистолями, они делали свое разбойное дело открыто, не торопясь – разве посмеет жалкий торгошник из дома сунуться? Они даже не обернулись на звук открывшейся двери, и Саввушка, выбежавший последним, перепугался за грабителей: сей миг случится убийство, братья, грозя, крикнуть не могут. И тогда он сам закричал петушком, голос сорвался:

– Лупи татей!

Дворяне развернулись – щелчок дать, а на них – два сбесившихся быка. Кинулись вояки к воротам, один саблю уронил – не обернулся, только бы ноги унести.

Захлопнул тугой на ухо ворота, меньшей брат запер их да еще бревном припер.

Отошли братья от ярости, Саввушку с ухватом увидали, руки в боки – и хохотать, а из плоток вместо колокольчиков – стон да клекот.

Замки на амбарах поглядели, где что поправили, собрались со двора домой, и тут в ворота сильно застучали.

Братья в руки что потяжелей и Саввушке показывают: погляди. Саввушка на забор залез – ночной постоялец на коне, а с ним – солдаты иноземного строя.

Увидал мальчишку, рукой помахал:

– Грабители минули ваш двор?

– Как минули? Гостевали, да братья их чуть не прибили.

– Ну и слава Богу. Шалят нынче в Москве. А я тебя чего-то вспомнил, мимо ехали, вот и завернул... Будь счастлив! На Красную площадь едем, царя оберегать.

Дал лошади шпоры – грязь из-под копыт полетела аж до шапок.

3

Со стороны двор Бориса Ивановича Морозова – обычный боярский двор. Бревенчатый тын, терема за тыном, куполок домашней церкви. Двое ворот, парадные и хозяйственные, но и те и другие с башенками. Такой двор глазу приятен: терема друг перед другом красуются, и маковки тут, и шатры, и шпили, стрелы, коньки, петушки. А изнутри двор – не игрушка. За тыном вроде бы пруды, да почти полным кругом, все равно что ров с водой. А на берегу вал, не высок, за тыном его не видно, но самый настоящий, для отражения приступов.

Морозов ходил по двору, глядел, как устанавливают на валу пушечки. Пятью пушечками в казне разжился. Бог даст – не пригодятся.

Для спокойствия ставил: спокойней, когда вокруг двора пушки.

Во дворе строились в ряды холопы, человек триста.

Плохо строились, толкались, перебрехивались, – всыпать бы, да время ненадежное.

Борис Иванович взошел на крыльцо. Дворня замерла, ожидая приказаний.

– Пойдите на Красную площадь. В оба глаза глядите за дворней князя Яшки Черкасского. Сами драк не затевайте и в драки не вмешивайтесь, но вот если дворня или даже кто из дворянского ополчения к моей особе будет добираться или – избави Бог! – царских слуг кто начнет теснить, тогда бейте разбойников без пощады. – Повернулся к стоявшему за спиной

Моисею: – Вели раздать большие ножи, кастеты, ослопы, но чтоб все не напоказ. Сторожить дом оставь не меньше полусотни. Как со всем справишься, немедля приходи в мои покои.

Моисей – одна нога здесь, другая там.

– Что угодно, господин?

Морозов в парадной, но старенькой шубе, шапка соболья, но тоже старая, на руках из перстней всего один, с камушком-охранителем, в руках свиток указа.

– Погадай, удержусь ли? – сказал, на Моисея не поглядев.

– Нужна свежая проточная вода...

– Эй, кто-нибудь! Чтоб тотчас принесли с реки воды. Бегом!

– Еще бы молока из персей...

– Бабьего, что ли?

– Без этого никак...

– Федулка, гони к дворне... Сколько молока нужно?

– Ложку.

– Пусть баба кормящая надоит малость. Да мигом! Мигом!

Слуги умчались. Моисей подошел к боярину:

– Извольте волосок из бороды.

– Дергай.

Моисей выдернул, отошел в сторону, ожидая воды и молока.

– Верное ли гадание? – спросил, помолчав, Морозов. – На молоке беременной бабы гадают, когда хотят знать, дочь будет или сын. Потонет молоко – жди дочь.

– Не извольте, господин, беспокоиться. Я гадаю по древнейшему обычаю.

Принесли воду и молоко.

Моисей выслал слуг вон.

Налил воды в серебряную тарель. Сжег на свече волос из бороды, пепел кинул в молоко, молоко вылил в воду, напрягся, жилы выступили.

– Рупа, джива, линга, шарира! Боров, дракон, коса, можжевельник – приветствую духов Сатурна!

Помешал воду перстнем.

Молоко плавало, пепел свился спиралькой.

– Господин может быть спокойным.

Морозов, сидевший неподвижно, встал, улыбнулся не без издевки:

– Карету!

4

Царь Алексей Михайлович, натешившись красной ловлей птиц кречетами, возвращался в Москву. Ему было известно: дворянское ополчение явилось в стольный битъ челом о разорении и бедности, и Борис Иванович, озабочаясь, нашел-таки средство отвратить челобитчиков от бунта.

Первым, кто встретил царя еще за две версты от Пресненской заставы, был игумен Никон. Алексей Михайлович ему обрадовался, сошел с лошади, благословился.

– Великий государь! – воскликнул Никон, сверкая черными глазищами. – Дозволь в сей час испытания быть возле тебя. Дворяне озлоблены, в Москве грабежи... Собою дозволю заслонить, коли, не дай Господи...

– Что ты всполошился, отче?! Борис Иванович обещал постараться, чтоб все тихо было, славно. Но тебе, друг мой, спасибо! Спасибо.

Поехали вместе.

– Накопились у меня жалобы горькие, – сообщил Никон. – Приходить ли мне в назначенный тобой день?

– Друг мой! – слегка укорил Алексей Михайлович. – Об этом больше никогда не спрашивай. Приходи каждый раз. Я ради милосердия и ради твоих христовых хлопот все дела оставлю.

Возле Пресненской заставы царя встречали бояре, митрополиты, Никона оттеснили во второй и в третий ряд, а на Красной площади он уже плелся в хвосте царского поезда.

«Ужо погодите у меня!» – грозился он неведомо кому, и не вслух.

А в народе его узнавали, пальцами на него друг другу показывали, кланялись:

– Заступнику нашему!

Радость, подмешавшись к обиде, распирала Никону грудь.

«Ужо погодите у меня!» – повторял он свою невысказанную угрозу, но теперь не с отчаянием, а с веселой, бесовской надеждой.

Едва шествие вступило на площадь, запруженную народом, к царю метнулся под ноги Васька Босой, известный на всю Москву юродивый.

– Царь, возьми меня собачкой на службу! – завопил он во весь тоненький, на сто шагов слышный голосок. – Гав! Гав! – Юродивый прыгал босыми ногами по заиндевелым камням площади. – Царь, вон твои дворяня! – И, заливаясь злобным лаем, он кидался на мрачных ополченцев. – Они тебя зарезать пришли. Ты – агнец. А я не дам тебя зарезать, я твоя собака. Гав! Гав! Гав!

Дворяне, попавшие в первые ряды, отступали перед юродивым, норовили с глаз долой.

К юродивому кинулась стража, но Алексей Михайлович рассердился вдруг:

– Отойдите прочь от Божьего человека!

Ударили колокола кремлевских соборов, из Спасских ворот шел встречать государя патриарх.

Царь благословился и рукой указал на дворян:

– Благослови их, отче!

Патриарх Иосиф, совсем уже старенький, перекрестил дворян. И тотчас зычный дьяк с Лобного места принялся читать царскую грамоту о льготах лучшему российскому сословию.

Дворяне кинулись слушать.

– Урочные годы на десять лет... Розыск и возвращение беглых крестьян... После переписи крепость на крестьян, бобылей и детей их, без урочных лет, навеки.

– Слава! Слава государю! – Дворяне кинулись на колени перед молоденьким, но таким мудрым и хорошим царем.

5

А пирожкам, поставленным в печь, что? Испеклись. Взял старший брат, тот, что на ухо тугой, ящик, другой ящик дал Саввушке. Навалили пирожков, вошли торопко на площадь, пока народу много. Слышат, грязь за спиной у них больно уж чавкает. Повернулись, а это – младший брат, улыбаясь во весь рот, с ящиком за ними поспешает. У старшего брата слезы так и брызнули, а младший к нему голову на плечо положил, погладил по щеке и подтолкнул слегка: что было, мол, то прошло, пошли работать.

Царя Саввушка, как ни прыгал, не увидал. Видел издали шапки боярские, митры да клобуки духовенства, серебряные пики да топорики царской стражи.

На площади люди все с саблями, с пистолями да с ружьями – дворяне. Толкался мелкий торговый люд, нищие, шныряли хищно холопы Морозова, у каждого под полой то шестопер, то кистень. Были тут и крестьянского звания люди из ближних сел: кому купить чего надо, кому продать.

Когда дьяк с Лобного места объявил царский указ и когда другие дьяки стали читать тот же указ в разных концах площади, чтоб не случилось чрезмерной тесноты и смертоубийства, Саввушка с братанами кинулся к ближайшему дьяку – послушать. И послушал, да ничего не понял. Но тут по дворянству как бы волна прошла – на колени пали перед царем, сначала те, кто неподалеку от Радости России стоял, а потом – до самых дальних уголков площади. Когда многие на коленях, торчком торчат – гордыню казать, да ведь боязно: запомнят и прибьют в переулочке. Крестьяне хоть и поняли, что царева милость для них – и намордник, и шлея, и кнут, а тоже встали на колени, склоняясь перед государевым словом.

Младший брат, когда с колен поднялись, ящик с пирожками скинул, поставил на землю и в ноги брату своему поклонился: мудрый ты, брат мой старший. Я, дурак, в цареву правду верил и пострадал за нее, а правды царевой, чтоб всем людям ласки поровну, – нет и быть не может. Есть одна правда – сильных над слабыми.

Потом поднял свой ящик, ходил по площади и раздавал пирожки тем, кто в армячках да в овчине с прорехами, и все мычал чего-то, урчал... с ласкою.

6

Покой вернулся в дом пирожников. Стучала ступа, горела печь... Поставили братья тесто, сели перед печью на огонь поглядеть, а Саввушка у окна: за окном – сине, печь красным пышет, а за печью да в углах тьма – ямой угольной.

Братья плечом к плечу сидят, как две большие печальные совы.

И вспомнились отчего-то слепые певцы Саввушке, их песнопения, и запел он, будто сверчок, что на ум пришло:

Как невыразимо хорошо
жить братьям вместе!
Это – как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду...
На бороду Аронову.

И еще ему вспомнилось, и, помолчав, запел он опять:

Ты будешь есть от трудов рук твоих —
блажен ты, и благо тебе!
Жена твоя – как плодовая лоза
в доме твоём.
Сыновья твои – как масличные ветви
вокруг трапезы твоей.

Спел как сверчок и замолчал как сверчок. И в тишине, как из-под земли, раздались вздохи, придавленные, но неудержимые. Тогда только и сообразил мальчик, какой беды он наделал. Жил он у братьев и никогда не задумался, отчего они одни, без жен. Может, делить хозяйство, женившись, не хотят. Может, наоборот, деньжонки копили. Как теперь узнаешь? Только не было за все жите Саввушкино в доме братьев женщины, а братья-то не старики, хоть и бородаты. Старшему, может, лет уж двадцать, а то и с годом, младшему и двадцати нет.

Кинулся Саввушка к братьям в ноги. Старший обнял его, приласкал, а младший шубу на плечи, повозился за печкой чего-то и ушел. Ждали его ужинать – не дождались. Ждали спать вместе ложиться – опять не дождались. Пришлось дверь запереть.

А среди ночи загрохотало.

Саввушка с печи слез, нашарил лучину в печи, угли раздул, чтоб лучину зажечь. Открывать пошел старший брат.

По спокойному топанию ног Саввушка понял: вернулся младший брат.

Дверь отворилась – верно, он.

Улыбается, а сам весь мокрый. Мокрое это блестит жирно, и руки в мокром, и в обеих руках ножи.

– Да ведь это кровь! – воскликнул Саввушка.

Младший брат головой закивал, а сам улыбается.

– Он убил, – догадался Саввушка.

Поплыло тут у него в глазах, изба словно бы подскочила, перекувыркнулась, и больше уж он ничего не помнил.

Когда в себя пришел, увидал: окошко на солнышке горит и красным, и синим, и желтым – зима.

– Зима! – сказал Саввушка, стягивая с себя шубу и садясь на постели.

К нему подошел с кружкой горячего питья старший брат. Саввушка отпил глоток – вкусно, с брусничкой питье. Еще отпил.

Старшой головой кивает, глаза у него светятся – рад, что ожил мальчишка.

– А где же?.. – вспомнил Саввушка меньшого.

– Фу-у! – подул старший брат и пробежался по избе.

– Ушел? Убежал? Куда?

Старший брат развел руками.

– Значит, убежал... Зима. Была бы весна, мы бы тоже ушли.

Старший брат, соглашаясь, закивал головой.

– Посплю маленько! – Саввушка опять лег и заснул, но это был уже настоящий сон, а не забытье.

Глава шестая

1

Семнадцатого декабря колесом ходит халдейское гульбище.

У халдеев бороды медом мазаны, на головах у них шапки из бересты да из всякого дерева, в руках – огонь. Потому и бороды в меду, чтоб не спалить ненароком. Целую неделю, до самого Рождества, ночь пугают. Только откупаться успевай! Не подаришь копеечку, сена у тебя воз – сено сожгут, борода густа – так и бороду.

Халдеи – слуги Навуходоносора. Когда-то угораздило покорителя народов соорудить золотого истукана, все люди царства истукану поклонились, кроме Седраха, Мисаха и Авденаго (иудейские их имена – Ананий, Азарий и Мисаил), были эти трое воспитанниками Навуходоносора, за их ученость и ум отдал он им в управление Вавилонию, а они отплатили за милость дерзостным непослушанием. Разгневался владыка, приказал разжечь печь всемеро более, нежели как обыкновенно разжигают. Связали строптивцев, бросили в огонь, а они не горят, оковы с них пали, гуляют они среди пламени, гимны поют, а с ними четвертый, пресветлый отрок – Сын Божий...

Патриарх Иосиф посчитал игрища богомерзкими, и приказано было отваживать охотников с огнем по ночи бегать. А народу от веселиночки отказаться не хочется.

Для халдейских проказ весь август со мхов шишечки люди собирают, посушат их, потолкут и – в бычий пузырь, на продажу. Пирамидку набьют зельем, поднесут огонь к отверстию –

так и улетит злат цветочек в небо ночное, распушит там искры и пыхи веселого нестрашного огня.

Весь день буран из домишек душу вытрясал, снегу намело по самые трубы.

Алексей Михайлович коротал время с дураками, карлами да бахарями. Радость свою делил с Федей Ртищевым.

Карлы щебетали как птички, кувыркались в дальнем конце палаты, а возле царя и дружка его, опираясь на палочку, сидел на чурбаке беленький и как бы даже заплесневелый, с прозеленью, зажившийся старичок. Не будь у него палки, он, может быть, и не удержал бы своего иссохшего тельца, но вот в голове у него было ясно и молодо.

– Как родник в сгнившем срубе, – шепнул Алексей Михайлович Феде.

– Кто? – не понял Ртищев, но тотчас закивал, догадался: верно, старичок был как родник, что все выбивается и выбивается из-под земли и все звенит, все так же холоден и сладок, а сруб и замшел, и прогнил, сядет комар – дерево прахом развееется.

– Так ты, сказываешь, бывал в Царьграде? – пытал Алексей Михайлович старичка, и не впервой, – хотелось или уж уличить в брехне, или счастливо удостовериться в правде.

– Бывал, государь. В Царьграде многие бывали... Я еще бывал и в таких землях, в которых, может, никто, кроме меня, из православных людей и не был.

– А что ж Царьград-то, хорош?

– Да ведь как же не хорош. Ая-Софья у них – это все равно что целое государство под крышей.

– Неужто так велика?

– Велика, государь. Такой себя блошкой там чувствуешь, уж такой махонькой, будто тебя и вовсе нет, будто ты и на свет Божий родиться не успел.

– Так ведь в Ая-Софье мечеть! Басурманы осквернили великую церковь Божию. Ты-то как проник? Басурманился, что ли? – Царь поглядывал на Ртищева: здорово, мол, пугаю старикашку?

– Нет, государь! Басурманиться не басурманился, а правду сказать, халат и чалму напяливал. Велика была охота хоть тайно, а побывать в величайшем доме Господа нашего.

– Так Господь за грехи отступился от этого дома.

– Что нам знать-то дано?.. Ты если о чудесных-то странах послушать хочешь, так и слушай, а о Царьграде тебе твои послы рассказать могут.

– Прости, прости меня, старче. С великой охотой мы с Федором тебя послушаем.

– Был я, государь, в такой стране, где на многие дни пути песок – как зыбь морская. И бывает среди того песка живая земля, ибо напоена водой. И бывал я, государь, в странах, где люди черны, как ночь. Страна у них дикая, лесная... Днем – помирать от жары, а ночью – от великого ужаса, ибо в лесу поднимается рев звериный, и клики всякие, и вопли, и змеиный шип... А есть, государь, острова на море. И море там, государь, синее, как небо. А небо синее, как море. И цветы цветут круглый год. И люди не ведают ни холода, ни голода...

– Что же там, земной рай?

– Нет, государь! Люди, говоря, ни холода там не понимают, ни голода, а все недовольны, все им чего-то нужно, чего-то мало. Лик у земли, государь, равный, а люди хоть ликом и не схожи, а собачутся по-нашенски.

– Ну ладно, ступай себе! – отпустил умного дедка Алексей Михайлович. – Вася, иди-ка ты к нам да позови с собой тех, кто про колдунов да про оборотней знает.

Юродивый Василий Босой, взятый во дворец, был одет, как прежде: в рубище, на шее пудовая цепь, бос, но умыт, чесан, рубище в печи прожарено. Коротконогий, тучный, лобастый, был он, видно, страшно силен и страшно упрям. Брови всегда насуплены, а глаза из-под бровей – детские. Радости в них – на всю Москву хватит.

– Ты, батюшка, трусоват, – сказал Васька, садясь рядом с царем на его скамеечку. – Подвинься, чего расселся?

– Отчего же ты этак думаешь? – удивился Алексей Михайлович, подвигаясь.

– А вру, что ли? Трусоват. Боишься ведовства, вижу.

– Васька, дружок! Ну, сам ты посуди, как же не бояться? Против неприятеля войско можно выслать...

– А против чародейства есть крест!

– Так ведь как верим-то, Васька! Веры на маковое зерно ни в одном из нас нету!

Подошла к царю карлица, принялась ушами двигать: одно ухо вверх, другое вниз. Царь поглядел-поглядел, засмеялся. Тотчас другой карл закинул ногу за шею и прискакал на одной.

– Кыш! – махнул руками на карлов Васька Босой. – Ты, батюшка, правду сказал, дозволю ручки твои поцеловать.

Алексей Михайлович дал поцеловать обе руки да еще погладил Ваську по кудлатой его голове.

– Вера в упадке, государь. А все ж крест от всяческого наговора и колдовства – защита наилучшая! Я сам одну мерзавку испепелил до того, что в головешку обернулась.

– Ну-ка, ну-ка, рассказывай!

– Мал я в те годы был, а уже юродствовал, уже познал радость служения Господу. Взяла меня к себе одна баба. Видно, черти надоумили ее свернуть меня с пути истины. Кормит меня, холит, а за день-то у нее лба перекрестить времени нет. Возвращаюсь я однажды с обедни, и привязалась ко мне коза. Бородатая, роги – как турецкие сабли. Я шагу – она шагу, я бегом – она бегом! Свету невзвидел, как бежал! Во двор-то наш через плетень сиганул, а коза тут как тут – лбом калитку вышибает. Заорать бы – голос от страха совсем пропал. Тут вижу я корыто хозяйкино во дворе. Я – за корыто. Да и пригнись, чтоб коза меня потеряла. А под корытом-то – светы мои!

– Чего же там? – всплеснул руками государь от страха, от нетерпения.

– А под корытом-то – тело. Хозяйки моей.

– Это уж как водится! – взрокотав, встряла в разговор крошечная головастая карлица Верка. Чем она нравилась государю, так это усищами и невероятным басом. Федя Ртищев даже вздрогнул. И знал о Верке, а все равно вздрогнул, всякий раз вздрагивал и крестился.

– Это все правда истинная! – пропищал карл, сморщенный, с лягушиными перепончатыми лапками вместо рук. – Ведьмы, когда им приспичит в козу или в свинью обернуться, тело под корытом оставляют.

– Погодите! – отмахнулся государь. – Как же ты страсть такую пережил?

– А так и пережил! У меня на груди ладанка была и святой воды в сулее нес. Я ладанкой тело и перекрести, а потом давай святой водой кропить! Да крест-накрест! И, веришь ли, тело поганое, что под корытом-то, на глазах почернело и стало как уголь.

– А коза?

– Провалилась!

– В землю?

– Уж не знаю куда, а только как и не бывало ее.

– А я что говорила! – грянула Верка. – Как ведьмам в коз не любить оборачиваться, когда всякий рогатый скот – создание дьявола.

– Что ты мелешь? – возмутился Алексей Михайлович.

– Правда истинная! – пропищал карл-лягушонок. – Черт овец, коз и всякий рогатый скот создал. Сам слышал – рассказывают. Погнал он свою скотину пасти да и заснул. А скот весь у него был одноцветный. Уж какого цвета – не знаю, а только одноцветный.

– Черный небось! Какой же еще? – грянула Верка.

– Может, и красный. Ну, уснул черт и уснул. А тут, известное дело, овода, комары, скот и разбежался. А Господь собрал животин в сарай да и прикоснулся к бокам вербой с большими пушинками. Стал скот пестреньким.

– Неверный рассказ, – покачал головой Алексей Михайлович. – Все скоты земные – творение Господа Бога. Про то помните!

– Будем помнить! – пропищал карл.

– Чтоб нечистая сила стороной обходила, – решился заговорить один из бахарей, – нужно с собой травку носить по имени «кудрявый кягиль». Если на тощее сердце его съест, никакая порча не возьмет. На пир с травкой этой ходят. В волоса спрячь и смело ступай хоть к боярину, хоть к царю. И почет будет, и все тебя будут любить.

Государя окружили кольцом. Рожи страшные. Федя Ртищев улыбается уродцам, кто поближе – погладит, а они рады, и царь рад: сердечные люди Ртищевы, что отец, что сын.

– Это смотря какая стрела пущена! – возразил бахарю другой бахарь. – Есть стрелы ужасные. Есть икоты, есть стекла, есть волосцы. Бабы еще ругаются: «Волосцы те в щеки!» Волосцы исцелить нетрудно. А вот икоты да стекла! Тут на колдуна великого знахаря ищи. А не найдешь, ничто тебя не излечит. Так поглядишь – человек как человек. И вдруг начнет его корезить, гнуть, начнет он икать, лаять, мяукать. Ужас.

– Ужас! – согласился государь.

– А правда за праведниками! – Васька Босой вскочил, цепями загремел. – Правда, государь, за праведниками!

– Истинно так! – прошептал государь.

– Кыш вы! – стал Васька поколачивать карлов. – Послушай-ка, государь, об Ульяне Устиновне, праведнице. В голодные годы, в Смуту, Ульяна Устиновна всем крестьянам своим волю дала и все голодные годы кормила из своих запасов, пока закрома да сусеки не опустели. А как опустели, так крестьяне не бросили благодетельницу, не ушли от нее, а стали драть кору с деревьев, а хлебы пекла Ульяна Устиновна. И были те хлебы слаще ржаного и пшеничного.

– Истинно так! – воскликнул государь.

В палату пришел отец Федора, постельничий Михайло Ртищев.

– Великий государь, Никон, игумен, приволокся с челобитиями.

– Иду! – проворно встал со скамейки Алексей Михайлович. – Васька, скажи мне: хороши ли Никон?

– Хорош-то он хорош... Отчего ж не хорош? Очень даже хорош!

– Рад, что и тебе нравится заступник вдов и сирот... Играйте без меня. Пойдем, Федя, порадуем нашего друга доброй вестью.

2

Каждую пятницу Никон приходил в дворцовую церковь к заутрене, а потом вел с государем приятные уму, очищающие душу беседы.

Скоро дни без Никона стали казаться Алексею Михайловичу пустыми, и велел он ему приходить чаще. Пускали монаха во все дворцовые палаты, но он ожидал выхода в красных сенях перед царскими покоями. Здесь на стол клали Евангелие, чтоб ожидающие времени даром не теряли, набирались бы мудрости.

– Что читал наш любезный друг? – спросил государь Никона.

– От Луки, главу десятую. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите. Я посылаю вас, как агнцев среди волков...»

Алексей Михайлович смотрел на Никона с восторгом.

– Наизусть все помнишь?

– Помню, великий государь. «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почует на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится».

– Как это прекрасно – иметь всегда с собой вечную книгу... Но зачем же ты читаешь, Никон, если книга в голове у тебя?

– Для крепости, великий государь! Для смирения, для радости!

– Садитесь! – позволил Алексей Михайлович.

Сам сел на лавку возле окна, Федя Ртищев и Никон – на красные стулья.

– Слушаю тебя, драгоценный наш друг!

Никон развернул свиток, куда записывал прошения:

– Вдова стрелецкая Марья жалуется на стрелецкого пятидесятника Федота, соседа своего. После пожара ставил Федот новый забор да и оттяпал у вдовы половину огорода, а тем огородом бедная только и кормится. Детишек у нее семеро, и все еще малы, заступиться за мать не могут.

– Пожаловать Марью, – решил государь, глядя в стеклянное, в светлое окошко: сугробы, словно пироги из доброго теста, белы, а на макушках розовая корочка – заходит солнце. – Пожаловать ее, бедную. Пусть огород ей вернут да у пятидесятника-то у самого сажени на две пусть оттяпают, чтоб знал, как обижать слабых.

– Вдова Аграфена из дворян городских, да обнищавшая вконец, челом бьет: дочь у нее в девках засиделась. Жених вроде бы сыскался, но хочет за женой двадцать рублей сверх приданого. Четырнадцать рублей у вдовы есть, а шести рублей взять неоткуда.

– Девцу по бедности замуж не брали или уродлива?

– И по бедности, великий государь. Уродства за ней не замечено, но уж больно нехороша. Лицо плоское, скучное, и сама тоже как доска.

– Бедненькую пожалеть бы! Коли сыщется человек, который пожертвует, так деньги тотчас и вручить вдове Аграфене. Была бы моя воля, так бы и приказал, чтоб страшных девок бабы не рожали, не плодили бы горемык.

– На все воля Божия! – Это сказал Василий Босой. Ему тоже было дозволено по всему дворцу без докладов ходить.

– Садись, дружок, возле меня! – пригласил Алексей Михайлович. – Послушай, тот ли мы суд творим?

Василий Босой сел царю в ноги:

– Мне здесь хорошо. Читай, Никон!

Игумен поднял глаза на государя, помедлил.

– На попа Мирона из Казанской церкви многие жалобы. Блудом поп объят, как геенной. Девки попортил многих, вдов соблазняет, два мужа, у коих он жен совратил, побили его, а не унимается. Лютует.

– В Сибирь его, чтоб охладился, – подсказал Васька Босой.

– В Сибири попов мало... – раздумался Алексей Михайлович.

– В Сибирь! В Сибирь! – приказал Васька.

Никон поднял глаза на государя: юродивый становился ему невыносим.

– В Сибири попы нужны, – вздохнул государь.

Никон вдруг поднялся из-за стола и упал на колени:

– Будь, государь, милосерден ко мне! Никому я в прощении отказать не смею, и приходится просить по делам совсем уж несуразным, за людей недобрых, но ведь все мы – стадо Христово.

Алексей Михайлович кинулся поднимать Никона с колен:

– Что ты, право? Не отрину я тебя.

– Как же не отринешь? – слезами плакал Никон. – За Улиту Кириллову дочь Щипанова приходили просить все десятеро ее деток, а она под стражу взята по твоему указу.

– Улита Щипанова? – стал вспоминать государь и вспомнил. – Ворожея из Важского уезда?

– Государь, десять деток у нее. От порчи она травами да кореньями лечила. Кнутом ее наказали в уезде и в Москве... Перекрестить бы ее на Крещение вместе с халдеями, взять слово с нее, чтоб не знахарила, да и отпустить бы.

– Так и будет! – сказал государь, улыбаясь. – По твоему слову. Как ты сказал. А нам тебе, вдовьему радетелю, тоже есть чего сказать. Верно, Федя?

– Верно, государь!

– По великому молению братии Новоспасского монастыря быть тебе в том монастыре игуменом.

Государь улыбался, и Ртищев улыбался, и даже Васька Босой, а Никон побледнел вдруг. Он уже успел встать с колен, но теперь опять повалился:

– Освободи, государь. Недостоин людьми править. Молиться хочу. В пустыню опять хочу, на океан.

– Господи! – Алексей Михайлович обнял Ртищева, прижал к себе. – Федя, сироты мы с тобой, опять сироты. – И заплакал.

Ртищев упал на колени, распластался перед Никоном:

– Молю тебя, святой отец! Не надрывай сердце ангельское господина моего лучезарного.

Никон с колен вскочил, подошел к государю, хотел, видно, сказать что-то сильное, доброе, но Алексей Михайлович припал головой к груди его и плакал навзрыд. Тут и Никон пролил обильные слезы.

Посморкались, помолились, простили друг другу прегрешения.

За окошком сугробы уже стали синими, пора было отобедать, к вечерне пора, но Алексею Михайловичу не хотелось расставаться с другом своим любезным.

– Скажи, отец святой! Уж больно, что ли, хорошо на океяне-море?

– Несказанно, государь! – воскликнул Никон. – Стужи лютые, зима долгая, но все терпеть готов ради неугасаемых дней лета. Сурово на океяне. И земля суровая. Деревья ветрами в жгуты скручены, камни, мхи. Стоишь на молитве, а никого нет вокруг с суетой человеческой. Только ветер волну гонит, только птица редкая по небу метнется да только ангелы в тишине парят. На океяне человек от Бога не遠де. Глаза не застит ни успех чужой, ни чужое богатство или привилегия какая. Об одном спасении помышляешь, и посылает тебе Господь в награду неизреченную радость, когда видишь, что силы Господнии разлиты и в океяне, и в камнях, и в деревьях, и в самом малом существе.

– Ах, мне бы на океан! – Алексей Михайлович привскочил с лавки. – Федя, как бы хорошо на океяне помолиться... Отец святой, еще расскажи.

– Государь, свет очей моих, челобитные-то как же?

– Да-а! Ну, давай послушаю. Только быстрее говори, к вечерне собираться пора.

– Из города Вязьмы, как шел к тебе, посадские люди перехватили меня и слезно просили челобитную передать. Пишут, что стрелецких и ямских денег хотят с них взять как с девяти городов: Ужига, Кашина, Твери, Торжка, Городецка, Лук Великих, Можайска, Дмитрова, Венева, а четвертных денег – 507 рублей 20 алтын – в сорок два раза больше, чем с Торжка. Дворов посадских в городе против прежнего в пять раз меньше, а берут так же.

– Пожаловать их надо. Напиши им вместо пятисот четвертей две сотни, напиши, напиши, а то дьяк черкнет «взять к делу», и никакого дела не будет, а так-то, может, и послушают...

– У вдовы кузнеца Авдотьи Малаховой козу со двора свели... Одной козой и кормилась.

– Федя, а где ж мы козу возьмем? Святой отец, пожаловать надо вдову... Найдется если человек, который на бедность готов пожертвовать, так о вдове не забудьте.

– Еще одна вдова жалуется, молодая, осьмнадцати лет. Сосед, старик, к бане ее бегают подглядывать. Баня без окошек была, так он два прорубил...

– Кнута охальнику!

В комнату вошел старший Ртищев, Михаил.

– Великий государь, Борис Иванович пожаловал.

– Батюшки, с делами, чай? – испугался Алексей Михайлович.

– С делами.

3

Трудный день выдался у Бориса Ивановича. От крымской напасти – а то, упаси Господи, и от турецкой – в южной степи строилась оборона: две цепочки крепостей-городов. При царе Михаиле были поставлены Чернавск, Тамбов, Козлов, Верхний и Нижний Ломовы, Усерд, Яблонов, Ефремов.

В первый год царствования Алексея осенью заложены новый Белый городок в Козловском уезде, в Воронежском уезде – острожки Орлов, Усмань, Отемар. Предстояло поставить Коротояк, Инсар, Недригайлов, Обоянь, Олешню. Думали и о сибирской оборонительной черте, о крепостях, имя которым будет Симбирск, Корсунь, Саранск, Чалны, Аргаш, Сурск, Тагаев, Уренск, Белый яр... В городах этих видели надежду на будущий покой государства. Но где же денег набраться?

Компанион по торговле солью, богатейший гость Василий Шорин, продал Назарию Чистому мыслишку, не за деньги – за участие в деле. Посоветовал гость гостю все многие налоги: стрелецкие деньги, четвертные, данные, оброчные, ямские и прочие, прочие – заменить одним налогом, да не прямым, а косвенным. Таким налогом, от которого ни один житель Московского царства не отвертится, будь ты хоть самым патриархом. Предложил Шорин Чистому продать соль по две гривны за пуд. Гривна в те поры равнялась одному рублю семидесяти копейкам.

У Назария глазки заблестали. Если откупить у государства право сбора соляной пошлины, то прибыль со всех-то русских земель уж такая выйдет, что не только торговля – грабеж столько не даст.

Думный дьяк из купцов свои деньги умел считать, но особенно хорошо он считал чужие. Иноземные послы терпели от Назария многие убытки: вымогал он у всякого посла и у всякого посольства и деньгами, и подарками. Брал суммы по тем временам невероятные. С голштинских послов, которые ездили в Персию устанавливать правила торговли, слупил до тысячи ефимков, да еще украшение персидской тончайшей работы, с изумительными камнями, вместе с душой вытянул, а стоила та запона две тысячи талеров. Голштинский князь Фредерик даже грамоту царю Михаилу присылал с жалобой на взяточничество Назария, да сошло с рук – все ведь берут!

В торговых делах Назарий, когда прибыль сияла как солнышко на восходе, был скор и дерзок, составил грамоту и в тот же день явился к Морозову. Грамоту хитро составил: «...та соляная пошлина всем будет равна, и в избылых никто не будет, и лишнего платить не станет, а платить всякой станет без правежу собою. А стрелецкие и ямские деньги собирают неровно, иным тяжело, а иным легко, и платят за правежом с большие убытки, а иные и не платят, потому что ни в разряде в списках, ни в писцовых книгах имен их нет».

Борис Иванович прочитал грамоту и долго не мигая глядел на думного дьяка; тот было плечами под шубой соболиной поеживаться начал, а Морозов, не отводя пронзительных глаз, улыбнулся одними губами и спросил:

– Не пора ли тебе, думный дьяк, в судьи Посольского приказа?

– На то воля государя да твоя, Борис Иванович, милость, – поклонился Назарий. – Мне где укажет государь, там и буду, живота не щадя, на твои мудрые советы полагаясь. Только позволь и мне сказать накипевшее слово. Господин мой, приказ Большой казны без твоего начальства – совсем как сирота. Умоляю тебя, возьми приказ в свои умные руки.

– Без моего начальства в приказе Большой казны цену на соль поднять невозможно. Верно ты говоришь, Назарий Иванович, боярину Шереметеву, наитайнейшему-то, пора бы и честь знать! – Морозов достал вдруг из ларца грамоту. – Для почину приказ Новой четверти на себя беру.

– Вельми мудро решил, Борис Иванович! Питейное дело – государю прибыльно.

– Прибыльно, Назарий Иванович, прибыльно. А скажи, кого бы мне взять в дьяки в Большую-то казну? Одного дьяка я держу на примете: что ты скажешь о Матюшкине Иване Павловиче?

– А что скажу? Очень хороший человек!

И оба подумали: ну как Ивану Павловичу быть нехорошим, когда сынок его Афоня первый товарищ у государя.

– А вторым дьяком кого взять?

– А вторым возьми Анания Чистого.

– Твоего брата? – Борис Иванович так и уставился на советчика.

– Я об Анании словечко молвил не потому, что он брат мне, а потому, что польза от него будет государю великая: Ананий чужой копейки под ножом не возьмет, а в Большой казне хорошо считать нужно.

«Ну и наглец!» – ахнул про себя Морозов, хотя и понимал: Назарий три раза прав. В приказе, где ведают всей наличностью государства, всеми доходами, теперешними и будущими, чтоб руки-то хоть немножко погреть, за труды-то, за ночи бессонные, за вечный страх, за всеобщую нелюбовь и зависть, своего нужно человека держать, единокровного – ведь никому верить нельзя!

А во-вторых, вся торговля солью идет через Назария, без доверенного человека в приказе ему никак не обойтись.

Ну и, наконец, в-третьих: Ананий – муж ума государственного, ему не страшно дело доверить.

– Анания возьму, – согласился Борис Иванович. – Половину прибыли тебе. С кем ее делить будешь, знать не хочу.

«Меня рукастым зовут, – подумал Назарий, – а этот цапнул половину куша и в лице не переменялся».

– Я тебе, Назарий Иванович, доверяю, но не спросить все-таки нельзя: хорошо ли посчитал, покроет ли налог на соль все прежние налоги, не будет ли казне убытку и не слишком ли соль дорога?

– Господин Борис Иванович, мы с Василием Шориным считали по-всякому. Меньшей цены, чтоб налоги покрыть, взять никак нельзя. Однако астраханскую и яицкую соль, которая идет на соленье рыбы, нужно обложить вполтину, одной гривной.

– Неужто избавимся от постоянной муки выколачивать недоимки из тяглецов?! – воскликнул Морозов, отдаваясь радости. – Я думаю, для верности всего предприятия нужно разрешить курение табака, а торговлю табаком сделать царской монополией. Кнуты свищут, а дымок все равно колечками вьется.

– Ах, Борис Иванович! Я об этом и думать не смел, чтоб не вызвать твоего недовольствия.

– Уж коли все зовут меня правителем, надо править. Без смелости править нынче невозможно, новые времена настигли матушку-Россию.

Морозов говорил это, подчеркивая каждое слово, и Назарий Чистый понимал: говорит боярин для того, чтоб вся Москва перешушукалась.

4

В тот же день Борис Иванович Морозов и Назарий Иванович Чистый имели долгий разговор с боярином Василием Ивановичем Стрешневым. Боярина отправляли послом к польскому королю Владиславу для поздравления его величества с новым браком на Людовик Марии Мантуанской. Посольству вменялось говорить о подтверждении Поляновского мира, о союзе и совместной войне против крымского хана, но более всего и прежде всего посольству вменялось требовать наказания всем, кто в грамотах московскому царю допустил пропуски и умаления в титуле. За большие ошибки надлежало требовать смертной казни, за малые – наказания жесточайшего.

И на этом великом и тайном промысле не закончились дела у Бориса Ивановича.

Посылал он за Петром Тихоновичем Траханиотовым и говорил с ним с глазу на глаз.

– Плещеев за тебя тут хлопотал, – сообщил правитель своему зятю, посмеиваясь. – Душа-человек! Словно это он сам на моей сестре женат. Не корю, а хвалю твоего друга и родственника. Так-то верней, когда за своих стоят и при случае хлопочут. Ты-то и вправду «Тихоныч». Другой на твоём месте все уши бы мне прожужжал о родстве-то, а ты молчишь, ждешь. Или, может, гордишься?

Петр Тихонович, поерзав, сполз с лавки и очутился на коленях.

– Да сиди ты! – Морозов как бы отмахнулся, но и одобрил улыбкой смирение зятя. – Дело я тебе даю совсем не овечье, волчье даю тебе дело. Сам свою судьбу и решишь. Сделаешь все, как нужно, – получишь приказ. Волю государь дает тебе большую, но зазря князьков-то, а особенно духовенство, не обижай. Когда нужно обидеть, тоже много не раздумывай, а без дела – не трожь!.. Вижу, наострил ушки. Значит, скучаешь в Москве без службы. Поедешь недалеко, во Владимир. Будешь собирать посадских людей, беречь их, стоять за них. Города теперь вконец расстроены, тяглецы поразбежались: кто под патриаршую руку нырнул, кто ушел на монастырские земли, кто к сильным боярам. За кем бы ни числились людишки, если они в прежних грамотах не записаны, – забирай в посад. Города не стенами должны быть сильны, а людьми.

– По каким книгам в посад возвращать? – спросил Траханиотов без всякой уже игры.

– По писцовым книгам тысяча шестьсот тридцать седьмого года. Заберешь в посад всех огородников. Всю землю, за кем бы она теперь ни числилась, посадку вернешь. Торгашей тоже в посад, – говорил Морозов жестко, а кончив о делах, помягчел: – Видишь, сколько всего? Тут псом и псом нужно быть. И не тем, который твякает, а тем, который сразу берет за глотку.

– Выдюжу, благодетель ты наш, свет Борис Иванович!

– Выдюжишь! Чего не выдюжить? Не от своего куска, чай, землю будешь резать. У других отнять легче! – засмеялся белозубо.

«Крепкий старичок!» – подумал Траханиотов о зяте.

– Пока о разговоре нашем даже сестре моей не говори, – предупредил Борис Иванович, провожая Петра Тихоновича до дверей комнаты. – Потерпи. Сначала нужно сесть в приказе Большой казны. Но в дорогу, однако, собирайся. Я бы на твоём месте послал во Владимир человека смышленного, который все бы тебе и доложил, когда в городе объявишься.

Петр Тихонович поклонился, коснувшись рукой пола, истово и искренне.

Были в тот день у боярина Морозова и другие многие дела: гонял дяков, слушал доносы на Шереметевых и Черкасских, занимался своим Иноземным приказом, слушал отчет управляющего новым, и лучшим, своим владением – Лысковом и богатейшим селом Большое Мураш-

кино. Управляющий на всякий вопрос ответ давал круглый, ласковый, и Морозов решил: надо послать на волжские земли Моисея.

Кажется, совсем уж изнемог под тяжестью наитайнейших и великих дел, и вдруг – гонец. Да такой гонец, что со смертного одра пришлось бы встать и выслушать.

Молдавский государь Василий Лупу извещал: турецкий падишах Ибрагим затеял морскую войну с Мальтийским орденом, Ибрагиму теперь гребцы на галеры нужны, требует от крымского хана, чтоб тот без промедления шел в набег за русскими сильными мужиками. Хан Ибрагима послушаться не смеет...

Добрых полчаса сидел Борис Иванович в кресле, ни о чем не думая. Рукой пошевелить и то было противно.

5

Алексей Михайлович встал, приветствуя своего воспитателя, пошел ему навстречу, но не потому, что слишком обрадовался Борису Ивановичу, а потому, что хотел немножко схитрить.

– Приветствую тебя, великий государь, в добром здравии, в красном цвете твоих весенних лет! – пышно пропел Морозов, напуская на себя беззаботность.

«Ну, ясно как Божий день, – смекнул Алексей Михайлович. – Пожаловал с вестями самыми худшими. Надо от него сбежать».

– И мы приветствуем нашего добролюбца, – ответил царь и поискал глазами молодого Ртищева. – Федор Михайлович, за шубой-то моей сходи. Мы, Борис Иванович, на вечерню идем. Такие разговоры разговаривали, что и не отобедали.

– Помолись, заступник ты наш, помолись за всех нас! – продолжал игру Морозов, поздоровался с Никоном, к Василию Босому подошел, а тот вдруг отвернулся:

– А ну тебя к бесу! Войну за пазухой держишь.

Морозов даже рот раскрыл, засмеялся было, но смех оборвал, оглядел присутствующих.

– Так я шубу пойду надену, – сказал царь и пошел в спальню; увидел, что Васька-юродивый, провидец, не промахнулся, и, чтоб не выставлять из кабинета близких сердцу людей – государственная тайна дружбы не знает, – вышел сам. Морозов пошел следом.

– Крымский хан получил от султана Ибрагима приказ добыть лучших гребцов на галеры. Султан Ибрагим объявил войну Мальтийскому ордену.

– Я догадался, лучшие гребцы – русские мужики! – сказал Алексей Михайлович, пробуя пальцами пушок на верхней губе: не стал ли пожестче.

– Верно, государь! Русские мужики.

– Надо войска навстречу послать, как батюшка в прошлом году посылал.

– И без всякого мешканья, государь! Я как получил известия, с час тому всего, да и раздумался: кончать надо крымского волка, великий государь.

«Господи, ну чего он тянет, – думал Алексей Михайлович, – говорил бы скорей, чего надумал, да и отпустил бы меня».

– Да, надо кончать! – твердо сказал государь.

– Я, Алешенька, вот что надумал, – перешел на шепот Борис Иванович. – Ох, прости, Бога ради, по старой привычке... Алешенькой-то.

Хитрый старик согнулся, поставил одно колено на пол.

– Я не сержусь, мне по душе от тебя слышать «Алешенька».

– Дело, государь, промедления не терпит, я твоим именем посылаю в Астрахань стольника Семена Романовича Пожарского. Он возьмет астраханских стрельцов, соединится с тверскими казаками да дворянами и пойдет на Дон, а на Дон с деньгами пошлем военного человека, чтоб набрал войско. Соберем армию в Воронеже. А в Белгород пошлем Большой полк. – И тут

вдруг в глазах Бориса Ивановича проскочила искорка. – Пусть полк поведет князь Никита Иванович Одоевский.

– Пусть! – согласился Алексей Михайлович. – Борис Иванович, на вечерню я опаздываю.

– Государь, я тебя держать не хочу, но завтра надо тебе в Думе быть. Посла в Польшу посылаем, приказ Большой казны надо у Федора Ивановича Шереметева забрать, болеет князь, в приказ не ездит, глаза стыдно показать – недостача у него большая. Оттого и казна пуста.

– А без меня не обойтись?

– Не обойтись, государь!

– Ну ладно. Я завтра приду в Думу, посижу. А уж сегодня, будь милостив, отпусти. Люди меня ждут.

– Смею ли задерживать твое царское величество? – поклонился боярин. – Одно скажи, лепо ли воеводой Большого полка поставить князя Никиту Ивановича?

– Очень хорошо! – согласился Алексей Михайлович, ныряя в шубу, которую принес и держал Федя Ртищев.

Одевшись, государь стал вдруг медлить, перчатки попросил на рукавицы заменить. Рукавицы принесли красные – попросил зеленые. Вспомнил, что надо бы на дорожку облегчиться, скинул шубу, наскоро простился с Борисом Ивановичем, а стоило тому за порог – шубу на плечи, рукавицы взял красные, Федю обнял:

– Прости, брат!.. При Борисе Ивановиче уходить из дворца не хотел. Пришлось бы по-царски, а мы – тишком!

Никон слушал радостный шепот царя и глядел в сторону. Тишком, тайком... Он мечтал быть с царем на людях, чтоб все видели, чтоб во всем великолепии.

– Святой отец! – услышал Никон царя. – Идем-ка в малую какую церквушку.

И опять у Никона сердце печально екнуло: мечтал явиться с царем в Успенский, чтоб митрополитам, самому патриарху кинуться в глаза, а у царя на уме одно мальчишество.

– Великий государь, это изумления достойно, что ты не забываешь самых сирых во владениях своих... – Голос у Никона дрожал от обиды, но все приняли скоки в голосе за умиление.

6

В церквушке было тесно. Алексей Михайлович весьма удивился: церковь убранством бедна, свету в ней мало, иконами не знаменита.

Служили три попа. Скоро стала государю понятна завлекательность этой церквушки. Здесь пели священные тексты в шесть голосов сразу. Шесть человек читали разное. Понять ничего было нельзя, но служба зато кончилась так скоро, что государь и его спутники в себя еще не успели прийти от изумления.

Народ, весьма довольный, тотчас покинул церковь, а государь все стоял на месте – губы сжаты, глаза узкие.

– Никон!

– Слушаю тебя, великий государь.

– Вертеп!

– Вертеп и есть.

Царь сорвался с места, вбежал в алтарь, схватил изумленного попа за грудки. Поп был огромный, краснощекий.

– На Соловки! – крикнул государь в лицо молодцу в ризах. – Всех на Соловки!

И пошел из церкви вон.

– Чего это он? – улыбаясь, оглянулся на своих товарищей поп-молодец. – Да кто это? Да как он смел за грудки-то меня? Догнать бы...

Старый поп одной рукой схватился за сердце, другой замахал:

– Это – царь! Это – сам царь! Погибли!

Поп-детинушка почесал в затылке, но тотчас скинул с себя облачение, взял у послушника кружку с деньгами, высыпал в полу рубахи, зажал полу в кулак, шубу да шапку подхватил и двинул в ночь не оглядываясь.

Государь в сердцах тоже расшагался, Никон не отставал, а Ртищеву приходилось петушком семенить.

– Великий государь, – говорил Никон с напором, – весь этот срам и блуд искоренять надобно рукой железной. В Москву надобно собрать таких попов, которые Москвы достойны. Вот в Нижнем, знаю, поп Неронов служит. Брошенную церковь к жизни вернул. К тому тоже народ валит, но не затем, что служба скорая, – слово хотят слышать. Неронов-то Иван словом Божиим как пламенем прожигает.

Алексей Михайлович снял рукавицу, пожал холодную большую руку Никона:

– Спасибо! – И позвал: – Федя, где ты?

– Я здесь, великий государь.

– Запомни: Неронова из Нижнего в Москву надобно позвать. В Успенский собор!

Они стояли на засыпанной снегом улочке.

– Великий государь, во дворец пора, спохватятся! – сказал Ртищев.

И тут из переулка с факелами выскочила ватага халдеев.

– Эгей! Ликуй! Жги! – Они вскрикивали звонкие слова без всякого смысла, веселия одного ради. Увидали людей без огня. Закричали, загалдели пуще прежнего: – Держи! Держи их!

– Государь, к церкви! – закричал Федя, загораживая Алексея Михайловича. Но размалеванная, разухабистая толпа была уже вот она.

– Откупиться надо! – Ртищев рвал на шубе петли, чтоб достать в кафтане деньги.

Опережая толпу, выскочил мальчик с факелом.

– Копеечку! – И шапку лубочную скинул, кудри просыпал на плечи.

– Сгинь! – Никон в черном одеянии своем шагнул толпе навстречу, взметнул кверху руки, словно крылья развернул. В правой руке тяжелый медный крест – с груди сорвал. – Испе-пе-лю!

Халдеи остановились, смех умер.

– Монах!

– Игумен!

– Да это Никон, заступник! – Толпа качнулась, распалась, огоньки прыснули во все стороны.

– Прибирать нужно Русь-матушку, – сказал государь тихо и печально.

– Куда? – не понял Ртищев.

– Прибирать! Как в горнице прибирают. Чтоб чисто было!

Быстро, молча шли по темным улицам к центру. Вдруг государь остановился, Ртищев чуть не налетел на него.

– А мальчишка-то! Ведь я его видел. Точно ведь видел, только где?.. Вот царская доля: мелькнет человек, посветит и канет, как звездочка слетевшая.

У Спасских уже ворот Алексей Михайлович тихонько засмеялся:

– Вспомнил! Я этому мальчику рубль пожаловал, когда к Троице шли.

– До чего же глаза у тебя, государь, остры! – удивился Ртищев, а сам о другом подумал: не робок сердцем царь, такая горячая минутка удалась, а он лица рассматривал.

– Сокольнику без хороших глаз в поле делать нечего! – очень довольный собой и похвалой Ртищева, засмеялся государь и стал прощаться с Никоном...

А у того кровь в висках все еще бухала: «Прости меня, Господи! Прогневил понапрасну. В Успенский собор жаждал с государем явиться. А ты вон что послал – заслонить кесаря от нечестивцев».

Глава седьмая

1

На обоих оконцах, огораживая от света Божьего, висели шубы, а свет все ж трепыхался по избе. Печь белела, как побитое крестом, оробевшее привидение. Серебряная потухшая лампада выступала из черного тумана, ризы на иконах мерещились. Дух в избе: вдохнешь, воздух не течет по груди – колом пробадывает.

Волосатый, как домовый, громадный, лежал мужик на полу, раскинувшись во все стороны. Завозился. Сел. Пошарил вокруг слабыми от многозелья руками. Охая, придвинулся к окошку, потянул шубу. Как ножом резанула голубень.

– Бело-то! Господи, Царица Небесная, де-ень! Который только? Марковна, который сегодня день?

– Святой мученицы Агафии, февраля пятый...

– Э-э-э! – сказал грустно мужик. – Со Сретенья, стало быть, себя не помню. Третий день...

Задрожал. Обнял руками колени, подтянул к груди, пытаюсь согреться.

– Господи! Трясуница! Марковна, чего холода напустила? Печь-то, чай, не топлена? Господи! Да ведь Масленица! А блины и не поставлены, чай?

– Как во тьме-то кромешной поставишь? Огня запалить не даешь. Окна шубами закутал.

– Ты на печи, что ли?

– А где ж, как не на печи! Себя и младенца от лютой твоей спасаю.

Весело заверещал Ванюшка, откликаясь на подобревший голос отца: второй годок идет первенцу.

Мужик закрутил головой, жестоко двинул лбом стену в затишье.

– Петрович, ты чего? Ай зашибся?

– Стыдно мне, Марковна! – И выдохнул из себя скопившийся смрад. – Дай, Бога ради, квасу и прости.

Сдернул шубу с окна. Подождал, пока брюхатая, пострашневшая жена подаст квасу, выпил, стуча о ковш зубами, и опять лег.

– На постель ступай! – попросила Марковна. – А печь я затоплю, блины поставлю.

– Куда мне, псу, на постель? И на полу больно хорошо.

Марковна нагнулась, накрыла мужа шубой.

– Спасибо, голубушка! И прости меня, прости!.. Сама знаешь, не пил никогда. Отцовское, видно, разыграло. Он, царство ему небесное, ни себя, ни вина не щадил.

Закрыв глаза.

Марковна отошла на цыпочках, захлопотала у печи.

– Марковна! – позвал, не разжимая век. – Зарока, убоюсь гнева Божия, не даю. Но было сие и не будет больше. Иван Родионович на грех навел... Ванюшка не упадет с печи?

– Я его загордила.

Встал, подошел к бадейке с квасом, хотел зачерпнуть кружкой, но передумал. Кружку поставил, поднял бадью, прильнул.

– Петрович, не лопни! – всполошилась Марковна.

Петрович, улыбаясь, показал бадью жене:

– До гуши высосал. Новый заправь квасок... Теперь легче. – И хватил кулаком по столу. – Будь он проклят, антихристов сын.

– Господи, кого ж ты этак? – испугалась Марковна.

– Ивана Родионовича, вестимо.

– Не шумел бы ты, Петрович! У начальников руки длинные, а ум короткий. Разорит он нас, до смерти прибьет.

– Все равно – негодяй, собака, прыщ вонючий. Таких на привязи надо держать.

– Ну вот, – тихо заплакала Марковна. – Опять ты за свое. Опять гневен и неистов.

Петрович кинулся к жене. Обнял легонечко, живота драгоценного чтоб не потревожить.

– О матушка! Прости! Прости! Бесы загрызли вконец. Пойду в лес, помолюсь. Успокою душу, молитвой натружу.

И тотчас шубу на плечи, малахай на голову, рукавицы под мышку и за дверь.

Не человек – буран.

Петрович вылез из избенки своей и не возрадовался, что вылез.

– Ой, да ты мать твою! Ой, да мать?.. Уу-ух! Мать твою-ю-ю! – давил в себе стон, перемогался на все Лопатищи, зная, терпеливый какой мужик. За тыном, на широком воеводском дворе Ивана Родионовича, перемогался.

Петрович шмякнулся спиной об избенку, пятерней по груди завозил, замотал головой, словно самого пластовали.

Петляя по утонувшим в снегу тропкам, трусил с воеводского двора, с оглядкой, шабер Петровича Сенька Заморыш. Увидал, как попа ломает, остановился:

– Ты чего, батько Аввакум? Ай угорел?

– Терпежа нет слушать... Все забавляется, ворог мой?

– Пластует! – засмеялся Сенька. – Всех пластует! Все Лопатищи, в очередь. Я, слава Господи, свое оторал.

– Чего же весел?

– А я кату посул сделал. Он и надоумил, добрая душа.

Сенька пооглядывался, присел на крыльцо, скинул валенки и стал вытягивать из-под штанов длинные толстенькие дощечки.

– Во! – И залился счастливым смехом. – По ногам лупцуют. Без валенок! А как же? Чтоб чуял. К столбу веревкой и по ногам. А мне ничего. Только все равно ору, аж визжу. Сам Иван Родионович заступился. Ух, рявкнул! «Не обезножь, кат, мужика». Правду сказать, напоследок перепоясал меня, мерзавец, по заднице, за то, видно, что орать перестарался. Ну да задница – не ноги, на пузе поплюю.

– Сколько же изверг измываться будет над людишками? – опять покрутил Петрович лохматой головой.

– Недоимков за десять лет. Да хоть до смерти запори, много не выбьешь. С палачом туда-сюда, а с царем расплатиться, хоть сам себя продавай, – кишок не хватит. И оброчные деньги требуют, и четвертные, данные, доимочные, стрелецкие. Покойный царь стрелецкие деньги в семь раз повысил. Виданное ли дело?.. А потом, ты посуди, Петрович, за десять лет народу из посада ушло – да вполовину! Кто в бега, кто в стрельцы, кто на монастырские земли переметнулся. А кто не ушел, тот и плати за всех.

Дурным голосом завывала на воеводском дворе баба. Петровича передернуло, сунул пальцы в уши, в лес кинулся. Прямоком, как лось.

По лесу пахал, пока сил не стало. Повалился лицом в голубой пуховик сугроба.

– Господи! – шептал. – Возлюбим друг друга... Возлюбим друг друга... – Поднялся, махнул руками на лес, закричал что мочи: – Возлюбим друг друга! Ой, да возлюбим друг друга!

Плакал как ребенок. На снегу лежал.

Когда опять поднялся, почувствовал – застыл. Синё и в небе, и на земле. Вечер.

– «Свете тихий святых славы Бессмертного Отца, Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевшие свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достоин еси во вся времена петь быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот давай, темже мир Тя славит».

Возликовал душой Аввакум, выбрался из снегов по следу своему, домой не заворачивая, пошел в церковь.

Служил вечерню, светом невидимым осиянный. Слезу из прихожан вышибал словом. Слово – звук, но макни его в иордань сердца – без кресала и камня высечет огонь.

В тот вечер жена Ивана Родионовича исповедалась со слезами и стоном.

Оттого, видно, воевода и стукнулся за полночь в домишко поповский.

– Отвори, Петрович! – захрипело за дверьми. – Не пужайся. Один пришел.

Аввакум отодвинул засов.

– В избу не пойду. В сенях поговорим.

Иван Родионович мужик был статный и нестарый и лицом недурен. Нос тонкий, зубы белые, ровные, глаза от висков узки, а к носу в полную луну. И все ж таки – зверь. Бог его знает, на какого нетопыря он походил, а только страшно с таким вблизи жить. Говорил медленно, словно трудно ему было языком ворочать и словно думал очень, прежде чем сказать, а думать ему было нечем. Над переносицей едва взбугрило да тотчас и поросло конским негнушимся волосом. Глаза хоть и горят, да весь огонь – бабу за подол ухватить. Ухватить бабу за подол, за подол бы ухватить... Вот и весь пых. Щеки у него лоснились, губы пунцовели. Перстни на пальцах, белых, длинных, искрами сорили. Такой воевода упрямому попу – крест и крест. Умный бы – трети не углядел, а Петровичу во всех кучах покопать нужно, расшевелить, чтоб все дерьмо поверху плыло, всем на погляд.

Тут еще строгости московские пошли: подавай новому царю налоги сполна, и про недоимки забыть тоже не захотел. Твердая рука Ивану Родионовичу как бы дождь после засухи, тосковал без указующего перста.

Лопатищи – глухомань-матушка. Для худородного дворянина оно, может, и больно хорошо: кормление, службишка... А все ж вроде бы и на выселках. Иван Родионович, конечно, рад расстараться, чтоб углядели сверху. На такой правож Лопатищи поставил – крику не хватало кричать.

Увещевал поп Аввакум воеводу. Просил, молил, грозил... Да попу-то двадцать пять лет всего, петушок. Довел дело до бури. После вечерни прихватили на пустыре подосланные, кто по уху, кто по животу. Постукали и разбежались. Нет бы и самому до дому кряхтеть – вдогонку кинулся. У ворот воеводских другие ребята переняли. Побили на глазах у воеводы. Тот только похрюкивал.

Гордыней как колесом переехало. Ни спать Аввакум не мог, ни есть, ни службу служить. Право слово – осатанел. Бегал к воеводскому двору с колом и с огнем. Колами и отваживали от дурости.

Повесил тогда Петрович шубы на окна, отгородился от белого света и запил. Первый раз в жизни. Отец его, известный мытарь, так не пивал.

– Прости ты меня, Петрович! – сказал воевода.

– Бог простит!

Возликовал Аввакум. Как же! Одолеп врага, на поклон враг явился. А Иван Родионович посопел в темноте да и зашушукал:

– У тебя баба моя на исповеди была?

– Была.

– Всякое такое говорила?

– Не мне, Иван Родионович, говорила, – грудью напыжился Аввакум. – Богу говорила.

– Все равно тебе. – Воевода пошелестел губами: пересохли, видать. – Держи, Петрович, ефимок, а мне про то, чего тебе баба говорила, все как есть и доложи.

Тут дверь из сенец на волю фыкнула, из сенец Ивана Родионовича выдуло, а на крыльце кособоконьком ох уж и размахнулся Петрович да со всего плеча по роже. Хруст был и вихрь – подняло воеводу на воздуси и опустило в снежную купель.

Аввакум крест сорвал с груди, вознес над головой да и грянул на все Лопатищи:

– Изыди!

На карачках уполз воевода за свой острозубый тын.

А Петрович помог Марковне с печи слезть, в узелок, что под руку попало, сгреб, да и бежали ночью, дороги тореные обходя.

Притащились в макарьевский Желтоводский монастырь.

2

Ох ты, большая вода! Да какая же ты, большая вода, умница! Без оглядки катит, без мыканья взад-вперед, вдаль все, вдаль – вечный укор, пример недостижимый. Стоят берега, поглядывают вослед. Вот уж воистину человеческой судьбы символ. В одну сторону обратиться – грядет, накатывает, в другую – безвозвратно пронеслось, а тебе – только плеск да ветром по глазам.

Вода суть время, время суть жизнь. Да вот и на воду, на большую, есть свой хомуток. Успокоилась подо льдами, утихомирилась.

Глядит Аввакум на Волгу. Сил нет взгляда отвести. Бело на сто верст.

За спиной людишки ворохаются: возы скрипят, лошади фыркают, мужики матерки роняют, монахи на высоком старославянском языке шакают да вшикают – проходит человечья жизнь.

– Ну что, дружок, раздумался больно!

Повернулся Аввакум тучей, да тотчас и просветлел:

– Иван Миронович, отец мой, здравствуй и благослови!

Стоит мужичонко в зипуне. Щеки круглые, рыжие, нос между щек круглый, рыжий, глаза синие – морг, морг, брови косицами на глаза сползают. Усы и бороденка жидкие, где рыжо, где русо, а где уж и сединой взялось.

– Славно, Петрович, что и ты сюда пожаловал. Я-то попрощаться притащился. В Москву царь зовет.

– Сам царь?! – охнул Аввакум.

– Кто бы подумать мог, а вот и до царя дошло: есть, мол, в Нижнем старатель Божий. А я ведь, Петрович, много стараюсь. В великий грех впадал, плакал и жизни и себя решить силился, – Господи, прости, – и били меня. Много били. И все за веру, за правду, за порицание греха. О, Петрович! Чаю, мыслишь, люди хуже волков? Волк, мол, неразумен, человек же на семи хитростях замешен? А ты поверь мне – дитя он, человек, неразумное. Слышал я про твои беды. И не говорю тебе – смирись. Живи, душа моя, как живешь. Дай Бог тебе силы. Правдой живешь. – За руку взял. – Пошли, помолимся вместе.

3

Келья, в которой остановился Иван Миронов, была и подслеповата, и тесна – двоим в ней, прежде чем поворотиться, сообразить нужно, куда ногу поставить, куда руку протянуть. Иван Неронов, так перекрестила Мироныча косноязычная молва, по своей теперешней славе мог бы в покаях игумена гостем быть, но любил он эту келейку. А теперь, когда самой Москве стал желанный человек, келья – лучше и не придумаешь. В каждом русском сидит это – постником

прикинуться на пиршестве скоромном. Впрочем, Иван Неронов за собой такого греха не знал – жить напоказ.

В свои пятьдесят пять лет был он совсем старик. Поистратила жизнь христоролюбца.

Родом он был с реки Сары. Из местечка Лом Водожской волости. Это верстах в шестидесяти от Вологды.

В Смутное время какая-то шайка – поляки ли, свои ли – сожгла гнездовье, всю родню вырезала. И бежал Иван от пожара и смерти в Вологду. Было ему в те поры пятнадцать лет.

В пять лет человека угадаешь, а в пятнадцать не берись. Да только не про Неронова это сказано. В пятнадцать был Иван тот же, что в тридцать. Богу молился, меры не зная. Упрям и упорен, как мельничный жернов: зерно насыплют – зерно перемелет, насыплют камней – камни будет молоть. Жернову – лишь бы вода колесо крутила; Неронову – лишь бы верить, лишь бы кровь не захладела.

В Вологде, в тот приход свой, когда жизнь спасал, искать кинулся архиерейский дом. Не о том думал, где пропитание найти, а о том, как ему жить, познавшему от людей, от христиан, такое немыслимое зло. Отца с матерью тати убили ради куража только.

Показали Неронову, в какую сторону идти, и по дороге набрел он на гульбище. Ему говорят: «Это и есть архиерейский дом. Слуги гуляют». А Иван головой – как мерин от мух: «Быть этого не может! Архиерейский дом – пристанище стаду аристову, в нем от грехов удаляются всячески, а в этом беса тешат. Не верю! Не архиерейский это дом!» На всю улицу возопил, кулаками только и вразумили.

Нашел он пристанище под Великим Устюгом. Взял его в учение дьячок Тит. Бил его дьячок нещадно, выбивал тупость: полтора года одолевал Неронов букварь, одолел-таки. Однако, научившись плавать в книжном море, поплыл с великой охотой. Научился у дьячка читать вечерню, повечерие, Псалтырь.

В поисках места забрел в Юрьевец-Повольский. Взяли псаломщиком. Благочестием, строгостью до того пронял попа, что тот отдал за него дочь замуж.

Жить бы да жить!

Только где же это видано, чтобы русский правдолюб о правду шишки себе на лоб не присадил?

Героев издали любят.

Об усердии Неронова-молитвенника слава по всей Волге шла, а жители местечка, где подвижник сей обретался, настрочили донос патриарху Филарету. Простого человека тоже надо понять. Ну, любишь правду – и люби. Да хоть в постель ее с собой положи, если жены мало. А то степенных людей при всем честном народе поносить взялся. Как это, мол, православный человек жену свою за куш, не моргнув глазом, заложил? Да ладно бы заложил, но ведь и не выкупил! А теперь ее, православную, в воровство блудное продали. Оно хоть все – чистая правда, но нехорошо, когда вслух такое при многих людях говорят. А Неронов чешет!

Или набьются людишки в церковь зимой. Холодно. Ну, шапок и не снимают. Или забудутся. А Неронов налетит, руки распустит. По шапкам без разбору бьет. А шапка шапке рознь.

Или купец, молодой, богатый, все ему должны, а Неронов и на него лает: «Как же ты, сукин сын, посмел на родной сестре жениться? Божьего страха не знаешь? Ужо тебе вспомнится!»

Вот и написали о праведнике такое, хоть сей же час на плаху. Стража приехала с ружьями, да успел в монастыре укрыться. Архимандрит заслонил. Дал письмо к патриарху. Прибежал Неронов в Москву. Патриарх Филарет к руке его допустил, выслушал, одобрил. Недели после того не прошло, посвятили в дьяконы, а через год в попы. Приход получил на Нижегородчине, в селе Лыскове. Служил Неронов там с Илларионом, сыном попа Анания.

У Анания приход был в Кирикове. Село это против Лыскова неприметное, однако ж окрестные попы за мудростью к Ананию шли своей охотой. Неронов неделями у него жил.

Народ Анания любил, а воеводы делали вид, что любят. Уж какие соколы на воеводстве сидели! Им с разбойниками взапуски бы – пограбить, а в Кирикове рук не распускали, и не потому, что поп ученый. Дело было в том, что сын Анания женился на Ксении, сестре Павла, епископа Коломенского, а Коломенское – любимая царская вотчина, место царева отдохновения и душе-спасительных бесед.

Поучившись у попа Анания книжной мудрости и правилу, понес Неронов слово Божие в народ. А народ в Лыскове, что ли? Народ – в Нижнем Новгороде. Туда и приволокся поп Иван.

Сначала по книге Златоуста «Маргарит» возвещал на базарах путь спасения, потом церковку брошенную облюбовал, стал служить в ней. Сам был и за звонаря, и за дьячка, и за священника. Народ пошел к нему.

На тайный взнос церковь подновили, построили келий для Божьих невест.

У Неронова на дню нищих кормилось человек по ста. Ученость, как сад, разводил. Учил детей и взрослых, награды не требуя.

Со скоморохами войну затеял. На Святки с богобоязненной дружиной ходил отнимать рожки, дудки, бесовские колпаки.

О спасении воеводских душ пекся. Правду искал. Били его и в тюрьму сажали, а теперь в награду за побои, многотерпение и непреклонность ждало его место ключаря в московском Успенском соборе. Чин невелик, но Успенский собор – первый на Руси.

Беседовать с Нероновым молодому попу Аввакуму было лестно. Сидел, глаза в пол, стеснялся на святого отца в упор глядеть.

– Не знаю, кто про меня государю рассказал, – делился радостью Неронов. – Воеводам выгоды нет. Я от них натерпелся, да и они от меня тоже. Разве что Никон, игумен кожеозерский.

– Тот, что из Вальдеманова? – встрепнулся Аввакум. – Вальдеманово от моего села, от Григорова, верстах в пятнадцати всего.

– Вальдемановский... От верных людей слышал – в Москве он теперь. Через него простой народ жалобы царю подает. Я Никона хорошо знаю. Суровый человек, к себе без жалости, а для других на доброе дело охоч. Одним словом сказать – мордва. Эти если веруют, так, хоть убей, не отступятся. Если, конечно, от своих идолов откачнулись.

Тут Неронов разулыбался, положил руки Аввакуму на плечи, притянул к себе, облобызал:

– Брат мой, прости! О себе говорю, занятый своею радостью, а ты душой страдаешь.

Аввакум голову еще ниже опустил.

– Не по силе моей замах. Один против всей неправды выпятился. Это ведь тоже гордыня.

– Вижу, сильно тебя напугал воевода. Не за себя, думаю, напугался: дите малое, жена на сносях...

– Нет, батко Неронов! Я побоев не боюсь! Я все готов перетерпеть ради Христа. А вот когда стадо, к которому я приставлен пастырем, в долгах и слезах и когда постоять за него всей моей силы – зареветь в три ручья, такого, батка, стерпеть никак нельзя.

– Аввакумушка, меня воевода голодом хотел живота лишить, а я вон жив. А другой воевода по пяткам меня велел бить. И били. Кинули в яму, на шею, как на пса, цепь накиннули. Сорок дней сидел. Дождь на меня падал, пыль садилась, листья засыпали, с дерев ветром отрясенные, – а я пел. Все сорок дней пел во славу Христа. И в ледовитые Корелы меня отсылали, в монастырскую тюрьму. Сам Филарет сподобил на сей подвиг. Оно хоть в царях Михаил был, а все деяния умыслом Филарета совершались. Услыхал я, что затеялись воевать с поляками, и бегом из Нижнего в Москву. В самом деле бежал. К царю припыхал, а он – ни то ни се, от царя к патриарху поволокся. Увещевал не лить христианской крови. Послушал меня Филарет – и с глаз долой, в Корелы... Думаешь, я не знал, на что иду? Знал. А не пошел – совесть загрызла бы. Чего с других спрашивать, коли с себя спросить не сумел. Тяжело за правду стоять. Нет слов, как тяжело. Но ведь и награда велика. Ты, Аввакумушка, раздумайся да и реши,

как тебе жить. Правдой жить – век тужить. Меня в Москву зовут. Думаешь, на сдобное житье? Нет, брат мой! На мýку. Я-то уж знаю. Да чему быть – того не миновать. Я про свою жизнь все знаю. Господи, прости меня! А ты раздумайся, чтоб в горький час от себя же самого не отречься.

– Отец, будущего не ведаю. За тот полог сокровенный не то что глазами, умом страшусь проникнуть. Всё в руках Господа. Но про себя мне решать нечего. Решено.

– А семейство?

– Горько мне на родных людей своим беспокойством бурю наводить, но Марковна терпит.

– Дай нам, Господи, всем терпения.

Неронов опустил на колени и указал Аввакуму место возле себя.

А помолиться как следует не довелось. Приехали к Неронову гости: из Лыскова поп Илларион да его отец поп Ананий.

Ананий усыхал. Остался от него тонконогий, с веточками-руками старичок, голубой лицом, волосенками бесцветный, подлунное улыбочивое существо.

– А! – припал он к Неронову, улыбаясь, но как бы про себя, как слепцы улыбаются. – Рад, что дал Бог обнять тебя. Благослови, отче.

– Смилуйся, отец Ананий! – заплакал сокрушенный добродетелью старца Неронов. – Ты всем нам отче. От тебя принять благословение – все равно что воды испить истомившемуся в пустыне.

– Не упорствуй! Я знаю, у кого прошу благословения, – улыбался все той же лунной улыбкой Ананий.

Стоять ему было тяжело. Острые коленки упирались в лавку, сзади напирал животом плохо поместившийся в келье Илларион. Был Илларион лицом бел и породист. Волосы каштановые, кудреватые, губы как бы прорисованные, пущенный в рост живот нисколько не портил молодца – огромного, властного.

Неронов благословил старика Анания, все свободно вздохнули и сели на кровать, рядом.

– Вот и мы! – сказал Илларион. – Надолго ли в наши края?

– Теперь можно хоть поутру ехать. Коли благословит меня отец Ананий в дорогу, завтра и поеду.

Отец Ананий искоса откровенно разглядывал Аввакума.

– А это кто?

– Аввакум я, – потя от неловкости, осипнув, назвал себя Аввакум. – Из Лопатищ. А родом из Григорова.

– Знал твоего отца, – покачал сокрушенно головой Ананий: то ли Аввакума пожалел, то ли и теперь еще удивлялся какому-то воспоминанию.

– Наслышан о тебе, – сказал Илларион Аввакуму. – Молодой еще совсем.

– Хороший он человек, хороший, – закончил этот разговор Неронов. – Ну, отцы, на что вы меня в Москве благословляете?

– А будь таким, как был. – Ананий улыбнулся. – Мудреная Москва простоту любит.

– Жалеет, – поправил отца умный Илларион.

– Любит, – не согласился Ананий.

– Пускай любит! Не о том речь! – От волнения Илларион встал, но тотчас сел – у Неронова в келье не разбежишься. – Вы подумайте только, отцы мои! Никон – у царя ближний советчик. И тебя, батько, в Москву позвали. Подпереть Никона. А как же? Кому, как не землякам, подпереть... Если все подопрем да подтолкнем, эо как взлетят нижегородцы. Ныне нижегородцам друг за друга крепко нужно стоять.

Неронов развел руками:

– Илларион, ну что ты, право! Меня зовут в ключари, а Никон покуда еще не митрополит – игумен, каких много. Да и велика ли будет прибыль Церкви, если нижегородцы митры наденут? В какой такой святости наш брат нижегородец преуспел?

– Батько, но ведь мы и не хуже других.

– Лучше были бы, а то – «не хуже»...

– Но ведь тебя, батько, зовут в Москву. Отчего, скажи?

– Может, оттого, что людей вокруг меня много. Многие ко мне идут. А знаешь, почему идут? Потому что верю.

Илларион покраснел, дорожки пота катились по толстым его щекам.

– Но я-то о чем говорю? Я о том и говорю, что, если праведники, подобные тебе, отец наш, придут со всех концов земли в стольный град, быть Москве Третьим Римом. Быть русскому народу избранным народом Божиим, как были жиды, потерявшие благодать.

– Илларион! – вскричал тоненько Ананий. – Что говоришь?

– А то и говорю. Вымолим у Бога благодать. Всенародно.

Илларион опять вскочил, отдавливая ноги Аввакуму, протиснулся под иконы, опустился на колени и, обернувшись, сделал жест рукой, призывая быть с ним заодно:

– Помолимся.

Аввакум стал гадать, как ему пристроиться, но на плечо ему легла рука Неронова:

– Пошли, Аввакумушка, на волю. Душно в келье. А ты, Ананий, когда Илларион помолится за нас, грешных, отдохни... Игумен обедать приглашает.

4

Зимний день отблистал. С поголубевших сумеречных снеговых полей летел, драл лицо жгучий огонь холода.

– Засиделись, – сказал Неронов, раздвигая плечи, чтобы набрать грудью свежего воздуха. – Пошли, Аввакумушка, к твоим, благословлю Марковну. Знаю, каково ей.

– Я в крестьянской избе, на постое, – покраснел Аввакум. – Тесно.

– Что же ты бедности, неразумный, стыдишься? – укорил Неронов. – Сын Божий в яслях родился. Помнить про то надо и радоваться, коли Господь послал тебе испытание.

Шли вдоль монастырской деревеньки.

– На краю избенка-то, – опять повинился Аввакум. – Я тебя, отец, провожу обратно. Марковна больно будет рада тебе.

– Погляди, как звезды радостно загораются. Воистину Онисима-овчарника день. – Неронов остановился, оглядывая налившийся густой синевою небесный купол.

С того конца села, куда шли, вдруг звонко окликнули:

– Эгей!

И тотчас окликнули с другого конца:

– Эге-ге-ей!

– Ой ли! Ой ли! – позвала певуче женщина совсем недалеко где-то.

– Ишь ты! – заулыбался Неронов. – Звезды окликают. В честь Онисима. Дай, Господи, хорошего приплода овечкам.

Кривенькой тропой пробрались к избе. Слово по бревну шли, размахнув руки, чтоб в снег не оступиться.

Изда на чистом снегу чернела, как подсохшая, отболевшая язва. Шагов за десяток ударило в нос скисшим дымом, детскими поносами, сгнившей в грязи овчиной, собачьей шерстью...

– Петрович, ты? – От стены отделился человек.

– Марковна, чего это на морозе?
– Душно! Мутит меня. Ой, да ты не один!
Неронов отстранил Аввакума, подошел к Марковне:
– Прими благословение мое, женщина!
– Это Неронов, Марковна! – сказал из-за спины Неронова Аввакум.
Марковна поклонилась, поцеловала попу Ивану руку:
– Помолись за нас, отче!
– Вы за меня помолитесь! – Неронов неожиданно опустился на колени.
– Да что это! Да как же! – испугалась Марковна.
– Перекрести меня! – попросил Неронов. – Святые вы у нас, женщины вы наши, дающие нам детей и принимающие в награду от нас одни только муки.
– Отче! – взмолился Аввакум. – Встань.
– Нет, Аввакумушка! Преклони-ка и ты колени!
Аввакум послушался.
Постояли в снегу на коленях перед потерявшейся Марковной, поднялись.
– Не провожай меня, – попросил Неронов. – И молю тебя, помни – возлюби женские муки, не будь суров к прихожанкам своим. Когда потребуют на них суда, себя суди. Тут и весь мой сказ, Аввакумушка. Прощай.
И ушел...
– Вот ведь какое дело! – развел руками Аввакум, пригораживая Марковну от поднявшегося с сугробов ветра.

5

Синяя льдина неба на февральском солнце не таяла. Земля, раздавленная холодом, растеклась, как блин по сковороде.

Конца-края нет пустыне. Сидеть бы человечкам, в трубу дым пускать. Ан нет! Шевелятся.

Заиндевелые лошадки гривами помахивают, трусят, трусят; на миг единый остановись, так и вмерзнешь в пронзительную глыбу неба. Обоз велик, идет он в Нижний Новгород из купеческого села Большое Мурашкино, отданного в вотчину ближнему боярину Борису Ивановичу Морозову. Идет обоз кружным путем. Новый управляющий всеми именьями Морозова колдун Моисей, отправляясь на торг, заодно надумал помолиться новым для себя богам в макарьевском Желтоводском монастыре.

Игумен хотел было сказатьсь больным, но Моисей пожертвовал воз овчинных шуб и тулупов; игумен передумал, принял управляющего в своих покоях и не промахнулся.

Собеседником Моисей оказался не только замечательным, но и наиболее полезным. От Моисея игумен узнал новую цену на соль. Правда, утром прибыл из Нижнего гонец с официальным известием, но к утру, когда обоз выступал в дорогу, у монахов уже было готово пять возов рыбы. Рыбу следовало сбывать по холоду. С этим же обозом отбыл в Лопатищи поп Аввакум с семейством.

Игумен для человека, приятного Неронову, саней не пожалел.

Ехали Волгой. По льду сани сами катятся.

– Марковна, терпишь?

Аввакум разгребал сено, открывал щелочку в огромном воротнике тулупа. Из недр овчины выкатывалось облачко пара.

– Жива, спрашиваю?

Марковна, чтоб не застудиться, рот на замке держит. Улыбается, закрывает и открывает свои солнышки: все, мол, хорошо!

«Ишь ты! – удивлялся Аввакум, пряча жену от мороза под овчиной и сеном. – Глаза-то у Марковны в синь кинулись, а на самом-то деле серые глазам. Уж такие это глаза, что и нет таких других на всем белом свете.

Монах-возница торкает Аввакума в бок:

– Петрович, не дремлет Марковна-то?

– Не-ет. – Аввакум утирает лицо ладонями: не прихватил ли где мороз.

– А то ведь сегодня Тарас-куманник, днем кумаху наспать можно.

– У Марковны лихорадки не бывает.

– Это хорошо, а все ж поглядывай!

– Спасибо на добром слове.

– Петрович, а как же с рыбой-то теперь будем? Без соли-то – только вонь разводить.

Аввакум тяжело трясет головой: он тоже не понимает. Утренний гонец воеводы всем задал мозгами так и сяк крутить. Оказывается, с седьмого уже февраля цена на соль сделалась немислимо дорога. Пуд теперь стоит три рубля тринадцать алтын с деньгой. Слыханное ли дело?!

Сани повизгивали все звончей да звончей. Небо-то все текло текло, да и ввалилось наконец в ночную тихую заводь.

Извозчики то и дело спрыгивали с саней, бежали рядом по насту, разгоняли стынущую кровь.

Аввакум, заглядывая под тулуп Марковны, теплым дыханием отогревал ей нос, щеки, глаза в стрельчатых от инея ресницах.

– Ничего, Петрович! Ничего, дотерплю! – шевелила Марковна посиневшими губами, а улыбалась счастливо: жалеет муж.

– Да уж потерпи! Дымы вон за окоемами столбами поднялись. Ближе до ночлега. Мальчонка-то наш не задохнулся?

– Живехонек, все бока затолкал.

– Марковна!..

– Да нет, Петрович. Неопасно толкается. Спит он теперь.

На постой принял их мужик богатый, маленько торгующий.

– Ночуйте, места хватит. Алтын всего и беру с человека, а по деньге накинете – пожалуйста за стол. Что сами едим, то и постояльцам.

Аввакум заплатил полуполтину, рубленный на четыре части талер с царским клеймом.

– Вот тебе деньги, душа-человек. Да чтоб щи были огненные, да пирогов с грибами подай – пост начинается. Да дровишек-то не жалея, топи так, чтоб от жары волос трещал. Закоченела у меня женушка, а заболеть ей теперь, сам видишь, никак нельзя.

Мужик монетку на зуб попробовал и давай домашних пошевеливать: сыновья наташили дров, жена загремела чугунами, свечи зажег, в лампаду масла долил.

– Только тебя-то, батюшка, на печи положить не могу! Странница у меня ночует.

Как бы подтверждая слова хозяина, заскрипела разошедшаяся лесенка за печью, и, повязывая платок, чтоб на людях не быть простоволосой, вышла из-за печи молодуха. Слова вымолвить не успела, а все уже гордыню-то свою тотчас и положили ей в ноги. И ладно бы мужики, но и женщины! Женщины в первую даже очередь, потому что понимали – какая это красота. Молодуха первая поклонилась новоприбывшим, со вниманием и почтением животу Марковны, на сынишку и на монаха-возницу не посмотрела даже, а на Аввакума подняла глаза. У попа душа и пискнула, как рыбий раздавленный пузырь. Не глаза – ночь! Ночь и ночь, да только огненная. В ушах так и забухало. Тут ведь плюнуть бы да и перекреститься. Ан нет, скосила глаза жгучая стыдная сила на грудь, на округлости, ласковые да беззащитные будто бы... Обомлел Аввакум. Обомлел и подурел. Спрятать бы свой позор за слово: «Мол, погода»

то! Мороз-то! Куда крещенскому!» Так ведь нет – не то что слова разумного в голове в тот миг не сыскалось, но даже и мычання телячьего. Да и сил не было спрятать немочь стыдную, розовым туманом с головы до пят обволокло.

А дева в шубу вырядилась да и пошла в катух. Тут только и отпустило маленько Аввакума.

Хозяину избы красота будто и нипочем.

– Наказанье с этими бабами. Ладно, когда мужик мыкается по дорогам, а то баба. Говорю: «Чего мыкаешься?» А она в ответ: «Скучно на одном месте». Я ей: «Куда муж смотрит?» А она: «Некому за мной смотреть. Девица я». – «Отчего ж, – говорю, – замуж не идешь?» А она хохотать: «Ровню себе не сыскала. Ни один из вашего брата крылышки не опалил».

– Так она гулящая, что ли? – высохшим горлом просипел Аввакум.

– Вестимо, гулящая! Да только ниже воеводы к себе не допускает. Тьфу ты! – И: хозяин сплюнул через плечо, да уж больно что-то деланно.

Вернулась в облаке мороза девица.

– Небо тучами затягивает. К утру потеплеет.

Сказала, и всю грязь, какой хозяин забросал и ее саму, и гостей, смыло. Будто и не слышали ничего.

– Петрович! – позвала Марковна Аввакума.

Тот так и подбежал, по-собачьи, не понимая, что нужно сделать, но готовый исполнить и вовсе невыполнимое.

– Петрович? – удивилась Марковна.

– Да вот он я!

– Ванюшку возьми! Устала я, чай. Залезу на печь, а ты мне его подашь.

– А поесть?

– Разморило в тепле.

– Молока хоть выпей! – сказала красавица. – Хозяйка, дай молока гостье.

Хозяйка принесла кринку молока и хлеб. Красавица взяла молоко, налила в кружку, подала Марковне. Та пила, не спуская глаз с прекрасного лица девицы.

– Что ты так смотришь?

Марковна улыбнулась:

– От радости это я! Дочку жду. На хорошего человека поглядеть – дитю польза.

– Господи, Господи! – Тучки пошли по лицу красавицы. – Было бы в красоте счастье, а то ведь по-другому говорят: не родись красивой...

Ночью, лежа на полу, на тулупе и под тулупом, Аввакум изнывал от жары: тулуп сбросишь – вроде холодно, и уснуть никак нельзя от греховных картин, плавающих в мозгу.

На печи, тихонько посапывая, нежная голубушка Марковна с птенчиком, но подлая мыслишка Марковну стороной обтекает, шарит в горячей тьме.

Сбросил-таки Аввакум тулуп, на коленях приполз под иконы и стал молиться. Да так разошелся, что и заплакал.

Услыхала Марковна молитву Петровича, сошла с печи, стала рядом. А тут и ночная соседка Марковны очнулась от грез, послушала шепот в красном углу и тоже на молитву встала. Так и молились до петухов под богатырский храп монаха-возницы.

6

Утром – диво дивное. Из-под земли, что ли, вывалился туман, да такой – в двух шагах лошадь не разглядишь. Снег липкий. Стены изб влажные, черные.

– Василий-капельник грядет и свое всегда возьмет! – сказал Аввакум, выходя на крыльцо с Ванюшкой на руках.

У Аввакума с обозом пути теперь расходились. Усадил в сани Марковну, Ванюшку к ней под тулуп. Можно бы и в путь-дорогу. И тут вышла из дому девица-красавица. В шубе из черной лисы, платок, как облако, пушист, нежен.

– Вы ведь в Лопатищи? Возьмите меня.

У Аввакума голос опять пропал.

– Батька, что же ты молчишь? – удивилась Марковна, сияясь повернуться вместе с тулупом к облучку.

– Садись, – выдавил из себя Аввакум: мало сатане ночных мук, мало бессонной ночи и видений пагубных.

– Меня Палашкой зовут! – сказала девица, усаживаясь рядом с Марковной.

Та опять окликнула мужа:

– Петрович, сеном-то закидай нас.

Поп слез с облучка, не глядя женщинам в лица, подоткнул сено с боков.

Вынырнуло из тулупа личико Ванюшки, глазки сожмурил, а рот, как у лягушонка, до ушей раздвинулся – улыбнулся отцу.

– Ванюшку спрячь, не надыхался бы холодом!

Укрывая женщинам ноги тулупом, глянул-таки на Палашку, а та тоже смотрит, и в глазах-то вопрос, как теленок новорожденный, на ножках неверных покачивается. И губы, вместо того чтоб в слово сложиться, дрожат. Совсем Аввакум перетрусил.

Приехали в Лопатищи в полдень. Теплынь на дворе, того и гляди, ручьи побегут.

Народ в Лопатищах весело суетился. Все мужички на розвальнях какие-то мешки к воеводским амбарам везут и от амбаров – тоже с мешками.

– Что тут у вас делается? – остановил Аввакум одного жителя.

– Воевода Иван Родионыч рыбное дело завести собирается. Скупает у людей соль.

– Это как же так? Да стой ты! – крикнул Аввакум своему монаху-вознице.

– За фунт соли пять фунтов зерна дает. Первое, почитай, благодеяние от воеводы-то нашего.

– Благодеяние?! – Аввакума так и подбросило в сани. – А ты знаешь, сколько теперь соль стоит?

– Нет! – испугался житель.

– Гони к амбарам! – заорал Аввакум на возницу и сам дернул за вожжи.

Подлетели к амбарам. Поп на крыльцо прямо из саней прыгнул:

– Эге-гей! Слуша-а-ай!

Люди увидели своего «батюшку», оставили дела, подошла.

– Люди! Вас грабят белым днем! По царскому указу, соль ныне стоит две гривны за пуд. Сей оброк назначен вместо всех прочих тягот, вместо стрелецких денег, вместо четвертных, ямских.

– Ай-я-яй! – вдарился бежать сосед Аввакума Сенька Заморыш. – Чуть не продал последние три фунта. Моя очередь вторая была.

– А как же я? – завывала баба. – Я продала. Всю соль сгребла и продала. Без соли теперь сидеть.

Поднялся вой, крик. Люди кинулись к амбарам отбивать свое. Аввакум спрыгнул с крыльца, хотел сесть в сани, но возница-монах кнутовище, как пику, выставил:

– Пошел-пошел! Беды с тобой не оберешься... А ну, бабы, вон из саней.

Женщины выбрались из кошелки, и монах, нахлестывая лошадку, укатил догонять обоз. И тотчас, взметая снег, налетел на резвом скакуне Иван Родионович.

- Аввакум! – заревел. – Гиль заводишь? Да я тебя!..
- Чем кричать, скажи-ка людям, воевода, почему это ты государев указ утаил?
- Да я тебя! – Вырвал коня на дыбы, а из-за угла амбара снежком коню по глазам кинули.

А тут еще ангельский голосок:

- Иван Родионович, плохо же ты меня встречаешь!

Палашка заслонила попа и попадью.

– Серафим ты мой! – Иван Родионович прыгнул из седла в снег, поднял девицу на руки, на коня отнес. – За ее здоровье, поп, молись.

Аввакум взял сынишку на плечо:

- Марковна!

И, не оглядываясь, пошел тропинкой к утонувшему в снегу, брошенному своему дому.

7

В последний день февраля, на Василия-капельника, приезжал к Аввакуму крестьянин, привез мешок муки.

– За приношение благодарствую, живем с Марковной не сытно. Только за что такое благодеяние и от кого? – удивился Аввакум.

Крестьянин, человек роста среднего и волосом как бы тоже средний – ни бел, ни черен, рыжим не назовешь, да и не русский, – бороденку пощипал, прокашлялся и голосом самым заурядным рассказал все по порядку.

– Зовут меня Семивёрст сын Иванов. Возле Лопатищ, на пустоши, живем. Шесть коров у меня, три лошади, три сына, овечек держу, курей, гусей, утей. Старшие сыновья женились. Среднего ты сам венчал. Невестки попались – как пчелы. Наравне с мужиками ломаются. Живем-работаем... А тут воевода Иван Родионыч и объявил, что соль на зерно меняет. Соли у меня пудов десять припасено. Прикинул – дело выгодное, в прошлом году сам знаешь, каков был урожай: что посадили, то и собрали. Но все ж таки решил обождать, поглядеть, с чего это Иван Родионыч раздобрился... А потом и беспокойство взяло: не упустить бы жар-птичку-то. И уж совсем собрался к воеводским амбарам, а ты и объявись. В ноги тебе, батько Аввакум, кланяюсь всей семьей.

Крестьянин действительно проворно бухнул на колени и поклонился в ноги Аввакуму. Аввакум поднял Семивёрста.

– Принимаю от тебя дар не потому, что помог тебе избежать убытков, а потому принимаю твой дар, что мой дом в нужде и ты, любя ближнего, поделился скудным хлебом своим.

– Ой, батько Аввакум! – Семивёрст потряс кудлатой головой. – Умные речи мне до ушей только и доходят, а дальше – никак. Видно, щелка, которая в голову слова пропускает, мала да узка. Я ведь всего и умею – пахать, сеять, косить, и тут не всякий мне ровня, тут я молодец... А коль хлебом моим ты доволен, то и я доволен.

- Скажи, – спросил Аввакум, – что это за имя у тебя такое – Семивёрст?

– Да уж такое вот! Веселия ради! Поп у нас до тебя был очень веселый. Во хмелю меня крестил. Да я и не в обиде, правду сказать. Других все равно по именам не зовут. Все больше прозвищами. А у меня и не поймешь, что это – имя или прозвище. Да и нареки меня Ильей – все равна Семивёрст. Я, батько, проворный.

Тут мужичок спохватился вдруг, шапку на голову, попу и попадье поклонился да и за дверь. Аввакум кинулся гостя за стол приглашать, а Семивёрст лошадке свистнул, та и пошла. Повалился мужик с крыльца в кошелку розвальней, вожжой шевельнул, и только – динь-динь-динь – колокольчик под дугой.

8

Отслужив утренние службы, Аввакум торопливо погасил свечи и уж собирался сложить с себя облачение – служить в тот день пришлось одному, дьячок запил, – как вошла в церковь женщина.

– Батюшка, исповедай.

Аввакум глянул с тоскою на оконца, в которые бил настоящий весенний мартовский свет, хотя первый день марта только начинался.

Женщина подошла к налою, на котором лежало толстое, с медными крышками Евангелие. Дотронулась рукой до книги и будто обожглась, руку отдернула, голову опустила. Аввакум поглядел на нее и обмер: перед ним стояла Палашка.

– Слушаю тебя, дщерь! – сказал Аввакум, и голос его дрогнул.

– Отдалась я впервой девчонкой. Молоденький барин наш колечко мне с камушком бирюзой подарил. Мне и понравилось, хотя шел мне тогда тринадцатый год. Да и барчук, правду сказать, старше меня не намного был...

Горячая лапа схватила Аввакума за горло, разодрала грудь и принялась сжимать сердце... Палашка что-то говорила, говорила, а в нем крутился бешеный вихрь, затмевая разум.

«Господи!» – взмолился про себя Аввакум, стряхивая наваждение, и слух наконец вернулся к нему.

– Ладно бы один, а то двое их было, – говорила Палашка. – Иван-то Родионович сначала все глядел, будто бы ему противно, как кот фыркал, а потом тюремщика от меня оттащил да и сам кинулся как боров. В том и грех мой, что противен он мне был, а я терпела ради денег и ради дружка моего...

Теперь весь этот ужас долетал до слуха как бы сквозь птичий пух. Будто перебили всех птиц, ощипали да и пустили по ветру... А в голове роился жирненкий вопрос: как же это вдвоем-то?

«Сатана!» – хотелось крикнуть Аввакуму, но поглядел он в глаза женщины, а в них все тот же отчаянный вопрос и никакого паскудства в том вопросе, одно черное отчаянье.

«О каком тюремщике она говорит?.. Кого она спасти, отдавшись, хотела? Все мимо ушей пропустил, окаянный!»

Метнулся Аввакум по церкви, взял три свечи, зажег, прилепил к налою и ладонь под пламя поставил.

Вскрикнула женщина. Попятилась в темную глубину церкви, а оттуда засмеялась вдруг и легко так, хвостом покачивая, блудница блудницей, пошла из храма вон.

Только тогда и отнял у огня руку свою Аввакум. Вся ладонь в пузырях, от боли в ушах свист комариный, тонюсенький, а в груди чисто.

Вышел Аввакум из церкви, запер дверь на замок. Встал перед улицей – весна.

Березы влажные, через веточки небо сквозит. Вся детвора из избенок высыпала, словно грачи прилетели. Кричат друг другу и проходим:

– Весна красна, что ты нам принесла?

И в ответ им все говорили, улыбаясь:

– Красное леточко!

Опустил Аввакум больную руку в сугроб, огонь так и потек с ладони на пальцы и каплями в снег стал уходить.

Пошел к своей избушке Аввакум дворами. Видел, как то там, то здесь выбегали к банькам девки, оглядывались, не подсматривает ли кто, и торопливо умывались снегом. Мартовская вода от веснушек и загара.

В избе было светло и тихо. Сынок Ванюшка стоял, держась одной рукой за край деревянной бадейки, другой рукою ловил в бадейке тоненькие льдинки и совал льдинки в рот.

Аввакум присел на корточки, отобрал у сына лед. Бадейку поставил на лавку. Скинул шубу, шапку, посадил сына на здоровую руку и прошел за занавеску: Марковна лежала.

– Зачем воду таскаешь? – укоризненно покачал головой Аввакум.

– Ну а как же? – прошептала Марковна.

– Голубушка моя!

– Обед-то у меня готов! – Она поднялась было, но Аввакум не дал ей встать.

– Лежи! Сам управлюсь... Да и есть не хочется. Сыну стало скучно сидеть у отца на руках, завозился. Аввакум пустил его на пол.

– Боже ты мой! – увидала Марковна изуродованную руку. – Да что же это?

– Крестил. Кипяток бухнули. А я и попробовал воду на ошупь. – Сказал все это и волосами потряс сокрушенно. – Бес в меня, Марковна, вселился. Брешу как пес смрадный.

– Аввакумушка, да что с тобой? – Марковна потянулась к Аввакуму руками.

Он наклонился, положил тяжелую голову свою на набухающую молоком грудь жены. И услышал, как бьются два сердца.

– Марковна!

И печально поведал нехитрую свою историю.

– Помолись, Аввакумушка, полегчает! – поскребла ногтями Марковна буйную головушку мужа.

– Три дня в рот ничего не возьму! На одной воде буду жить, – просиял прощенный Аввакум.

Так и не ел три дня, а службы служил и молился втрое против обычного. В церкви порядок завел новый. Читал всю службу, не урезая, не позволяя помощникам своим читать в несколько голосов.

На третий день жестокого покаянного поста пришел Аввакум от всенощной, Марковна спала, и начал молиться, обливаясь слезами. Распростерся перед иконою да и забылся вдруг.

Видит – Волга, свободная ото льда, в разливе. А по Волге из золотой дымки закатной два корабля златые плывут. И близко уже, и видно, как гребцы взмахивают согласно золотыми веслами. И на каждом по кормщику. «Чи корабли?» – спросил Аввакум. Один из кормщиков ответил: «Луки и Лаврентия». Соображает Аввакум: Лука и Лаврентий – старцы, взятые к Господу. Когда начинал он служить, эти старцы помогали ему советами, дом помогали устроить. Добрые были люди. Поглядел опять на реку, а по Волге третий корабль бежит. Золота на нем не видно, но украшен коврами богатейшими: и красно, и бело, и синё, и черно, и пепелесо на нем. Бежит корабль, да так, словно и по берегу поплывет, и правит им юноша светел, и будто бы и не юноша вовсе, а один только столб света. Правит грозно на Аввакума, словно бы поглотить его собрался. «Чей корабль?» – вскричал Аввакум в отчаянье. И грянул голос: «Твой корабль! Да плавай на нем с женою и детьми, коли докучаешь».

Тут Аввакум и встряхнулся. То ли сон, то ли видение. Видение во сне! К чему вот только?

Встал Аввакум с пола, отломил кусок хлеба, луковицу взял, хлеб посолил. Ест, а сам слушает, как сердце в нем колотится. Корабль прекрасен был. Может, к доброму? По службе повысят, в город хороший возьмут? Да только что-то грозен был глас. Видно, и впрямь быть плаванью с женой и с детьми...

На сорок мучеников пришел в церковь воевода Иван Родионович. Послушал службу и затосковал: быстро сегодня от христианских обязанностей не отделаться. Послал к Аввакуму своего человека шепнуть, чтоб служил поп скорым образом: воевода, мол, на охоту за рябчи-

ками собрался. Аввакум на этот шепот и ухом не повел. Тогда Иван Родионович послал к нему ката, этого детинушку хорошо знали в Лопатищах. Не дрогнул поп. Служит по правилу. Уйти из церкви на глазах прихожан негоже, уж лучше бы вовсе не приходиться. Заскрежетал Иван Родионович зубами, но смирился.

Под вечер примчался с невезучей охоты Иван Родионович да прямо со всей шайкой к Аввакуму в избу. Двери с петель долой, окна выбили, все горшки поколотили, перины и подушки растрясали, лавки, стол, кровать порубили. Иван Родионович, прижавши Аввакума в угол, сам тешился кулачной забавой. Бил со смаком, размахивался не торопясь, бил, покуда не утомился. А потом зарычал, вцепился зубами Аввакуму в руку, да так, что кости на пальцах хрустнули. Хлынула кровь... Тут только и отпустил бешеный воевода жертву, вон из избы выбежал.

Добрался Аввакум до бадьи с водой, окунул в воду голову, поднял тряпку с полу, руку замотал.

Марковну с сынишкой кто-то из шайтанов, по доброте или как, из дому выкинул в самом начале побоища.

Народ уж сбежался со всех Лопатищ. Марковна в избу заскочила первая.

– Живой?

– Живой, Марковна.

– Делать-то что?

– Ты к соседям поди. А мне на службу. Меня Господь в пастыри к стаду приставил.

– Да куда ж ты такой?

– Иду, Марковна! Иду! – Вышел на крыльцо. – В церковь, люди! Господь на молитву зовет.

И пошел, качаясь, в церковь.

Ивану Родионовичу, видно, тотчас и шепнули: поп служить идет. А воевода уже вина успел хватить. Выскочил из дому с двумя пистолями.

Какая-то баба в церковь шла, увидала такую страсть – ахнула и в сугроб головой полезла.

Аввакум дом воеводы уже успел миновать, обернулся, а Иван Родионович порох на полке уже зажег. Пыхнул огонь, а грома не случилось – не выстрелил пистоль. Воевода кинул его, давай из другого целить. И снова на полке порох воспламенился, а выстрела опять нет.

– Собака! Собака! – завопил Иван Родионович.

Перекрестил его Аввакум, поклонился:

– Благодать в устах твоих, Иван Родионович!

И пошел своей дорогой, не оборачиваясь.

А домой вернулся из церкви – стрельцы перед разоренной избой:

– Пошел вон, поп, со двора, пока жив!

Переночевали у Сеньки Заморыша, а утром и к Сеньке в избу застучали стрельцы:

– Пошел-ка ты, поп, вон из Лопатищ!

Оделись Аввакум с Марковной, сынишку закутали, в санки посадили. Дал им Сенька Заморыш каравай хлеба на дорогу, и пошли бедные из Лопатищ куда глаза глядят.

Глава восьмая

1

Двадцатого февраля 1646 года стольник Петр Тихонович Траханиотов выехал в город Владимир с наказом царя «строить и посадских людей собирать и беречь и землю посадскую очистить».

Петр Тихонович, уповая на могущество царской грамоты, отправился на сыск с одним только слугою. Загоняя лошадей, мчался с яма на ям и прибыл во Владимир двадцатого же, поздно вечером.

Траханиотову для строжайшего исполнения воли царя была придана полусотня рейтар под командой поручика Лазорева, но рейтары отправились в поход двадцать второго, а прибыли во Владимир двадцать четвертого. Встречали отряд колоколами, крестным ходом, хлебом и солью, но каково же было изумление и ужас отцов древнего града, когда обнаружилось, что с рейтарами прибыли два подьячих, а доверенное лицо государя вот уже несколько дней, а сколько – точно неизвестно, проживает во Владимире. Правда, «свои» люди в стольном успели донести владимирскому начальству не только имя доверенного лица, дату подписания указа и причину посылки Траханиотова, но доложили и о родственных связях этого малоизвестного человека, о его пристрастиях, слабостях.

– Где же он, ваш начальник? – допытывался воевода у Лазорева.

– Мне сказано так, – отчеканил поручик, – если нужда в рейтарах случится, тогда кликнут. А покуда нужды нет, велено отдыхать.

Вся эта чрезвычайная таинственность пришибла местное начальство. Если Тихоня, как тотчас прозвали Траханиотова, начнет копать по поводу превышения власти, чрезмерных поборов и взяток, то, собственно, и копать не нужно. Но чего ради заниматься такими пустяками? Если же он будет, как, впрочем, и велено ему, искать людишек, вышедших из посада, то здесь москвичу и спину обломают, и руки отобьют. В самом деле, не кинется же стольник, уподобясь лающей шавке, на золотую колымагу имений патриарха всея Руси или на крепости самого Никиты Ивановича Романова, дяди государя...

Петр Тихонович, сначала напугавший Владимир, а потом как бы и рассмешивший, жил в доме некоего мещанина, у него же столуясь и слушая дела. «Дела» ему докладывали «верные» люди под началом юркого человечка Вторя, того самого, кто обокрал царскую милостыню в Троице-Сергиевом монастыре.

Сам Петр Тихонович послал бы во Владимир одного, ну двух сметливых людей, как ему и советовал Борис Иванович Морозов, но Плещеев рассудил по-другому. Плещееву почудилось, что сложное это дело есть тот самый оселок, на котором правитель собирался проверить будущих своих сотрудников. Проверяя Траханиотова, Морозов проверял и Плещеева, хлопотавшего за Петра Тихоновича. И послал во Владимир Плещеев не двух людишек, а две дюжины. Об одной дюжине Петр Тихонович знал и мог ею распоряжаться по своему усмотрению, о другой дюжине знали только Вторя да сам Плещеев.

К приезду Траханиотова все земли и угодья, когда-то принадлежавшие посаду, были учтены; многие люди, укрывшиеся от тягла на землях монастырей и сильных бояр, найдены и записаны в тайные пока книжицы.

Посад во Владимире был жалкий, вконец запутавшийся в долгах, от бессилья готовый взорваться бунтом, но и для бунта не имевший силы. В посаде не было и ста дворов, а тяготы он нес за все триста тридцать девять.

В первый день марта Петр Тихонович явился к владимирскому воеводе, предъявил грамоты и приказал ехать вместе с ним на двор управляющего Никиты Ивановича Романова.

– Беден я! – замахал руками воевода. – Болен и болен! Еле дотащился сюда, чтоб тебя, друга боярина Бориса Ивановича, приветствовать.

– Не боярина, а ближнего боярина! – жестко поправил Траханиотов и повернулся к Лазореву, который прибыл в Съезжую избу в полном вооружении и со всей полусотней: – Поручик, кликни людей да помоги воеводе, унесите его в мой возок да и поезжайте с Богом на двор Романова.

– Как это?! – подскочил воевода. – Да что же это?

- Ну, хорошо, Лазорев, не зови людей, – отменил приказ Тихоня. – Воевода сам пойдет.
 - Не пойду!
 - Лазорев!
 - Слушаюсь.
 - Зови людей.
 - Вот и носите меня, коли так! – прослезился несчастный воевода. – Сам шагу не сделаю.
- Воеводу отнесли в возок, поехали.

Управляющий боярина Никиты Ивановича приказал было запереть ворота, но рейтары запоры сбили, заняли двор, и стало всем понятно: у Траханиотова власть огромная, и все смешки веселым-то отольются слезами.

Траханиотов представил управляющему всесильного боярина роспись земель, незаконно отнятых у посада, и сообщил, что сорок пять пажен у Никиты Ивановича изымаются и отныне эти удобные для выгона скота земли принадлежат истинному хозяину – посаду города Владимира. Кроме того, у боярина забирают восемьдесят семь дворов и сто пятьдесят человек мужского только полу для возвращения в посад.

Управляющий умчался в Москву в тот же день, и город притих, ожидая молнии и грома.

Петр Тихонович возвратился после своего геройства в дом мещанина. Этот дом был уже известен всему Владимиру – люди на погляд приходили: кто с другой стороны улицы, а кто и в окошко заглядывал. Одним будто бы тьма в глаза кинулась, будто дым из-под полу черными кольцами клубит в горнице, другие видели горницу пресветлой, в ней старца тоже пресветлого, в золотой шапке, третьим померещилась голая баба. Изгибается баба так и этак, без всякого стыда, руки в бока упирает, ноги вскидывает. Срам и ужас.

О слухах Петр Тихонович ничего не знал. Жил он все дни праведно, а после геройского наскока на владения Никиты Ивановича Романова расхворался вконец. Велел истопить печь пожарче, голову кафтаном замотал и залег, чтоб ничего не видеть, не слышать. Так и пролежал бы целый день, когда б не прослабило.

А вечером мысль пришла: «Что же это выходит? На одного Никиту Ивановича напал, будто обиду какую выместил. Уж если разворошил осиное гнездо, надо и ос передавить, не то зажалят. До смерти!»

На следующий день у дворян Тургеневых были отобраны в пользу посада лес и покосы, у князя Борятинского взяли два поля.

Прибыл Петр Тихонович и в Рождественский монастырь. У этого монастыря нужно было изъять двадцать пажен. Да каких! На этих двадцати пажнях ставилось по две с половиной тысячи копен сена. Отстоял вечерню, поужинал в келье игумена, а про дело говорить не решился.

Укатил на ночь глядя в Суздаль, суздальский посад «строить и собирать».

За день дошлые его людишки вызнали: больше сорока посадских семейств живут на землях патриарха, монастырей и суздальского архиепископа. Тяжко раздумался бедный Петр Тихонович. Церковь – не боярин, Церковь и на смертном одре обиды свои выместит.

Суздальский архиепископ затеял в те дни торжественную службу в одной из церквей знаменитого женского монастыря, где коротала когда-то свой век Сабурова, бесплодная жена царя Василия III. Уже во время службы приметил Петр Тихонович послушницу. Она, видно, за свечами приглядывала, убирала догоревшие. Вот и прошла несколько раз мимо. Никакая одежда, и монашеская тоже, не могла, зная, скрыть торжествующих по молодости прелестей, а уж глаза и подавно не укроешь – агаты, горящие потаенным огнем. Петра Тихоновича будто в кипятки каждый раз окунали, как монашенка эта проходила мимо.

Словно вина, в которое зелья подмешали, глотнул. Все страхи свои забыл и себя самого, подозвал поручика Лазорева и, указывая глазами на красавицу, шепнул:

- Все вызнай!

Весьма удивился поручик, но и весьма обрадовался: черт побрал, пахло загулом.

2

О Господи! Колесо крутящееся, вихрь и ночь посреди дня, разверзшийся ад, сады дьявольские и прочая, прочая! Скакали на лошадях, увозили ласково льнущую добычу. Пили вино ковшами в лесных, неведомо чьих хоромашах и на берегу черного, подо льдом, озера. Кружили, прикасались то ручкой, то щечкой, а то и губами ласковые молодухи одна другой моложе, да все пригожие, шаловливые, как стригунки, а на всю дюжину – он, Петр Тихонович, да Лазорев-молодец.

– В баньку! В баньку! – шептали Петру Тихоновичу из-за плеча. – С дороги.

«А где же та, что в церкви была?» – свербила мыслишка, но Петр Тихонович уже совсем пустился по воле волн – будь что будет! Хоть и несдобровать, да погибель-то больно сладкая.

Послушался, пошел в баню. Баня как баня, только света много.

Налил воды в ушат, попробовал растопыренной пятерней воздух на подложке – плотен ли, поискал веник, а ему веничек-то и подают.

Оглянулся – она. Бог ты мой, она! И тоже для бани совсем готова.

В себя не успели прийти – дверь настежь, и вся ватага с пленным Лазоревым, вереща и умирая со смеху, ввалилась в блаженное духмяное тепло бесовской полуночной бани.

– Пропали! – радостно вопил Лазорев, сдавшись сразу всем.

– Тут и сказке конец! – почему-то выкрикнул Петр Тихонович.

Но сказка кружила нестерпимым вихрем, и, когда пришло наконец отрезвляющее бесилье, «доверенное лицо» запоздало перепугалось своры голых безумствующих баб, которые уже занялись собой, забыв замордованных мужиков. И стоило Петру Тихоновичу испугаться, как снова распахнулась дверь, и во всей монашеской смиренности явилась содому игуменья монастыря.

Петр Тихонович, может, и умер бы от одной только мысли: что же теперь будет, но Лазорев, куролес, хлоп лбом об пол.

Игуменья постояла, окаменев, поглядела и ушла.

И больше ничего.

Ни шуму, ни угроз, ни торговли какой. Монашки убрались, Лазорев тоже лошадей в санки заложил, вернулись в Суздаль другой дорогой. И в Суздале – ничего.

В ожидании кары сидел три дня Петр Тихонович в отведенном ему для постоя дому и так ничего и не дождался. Хотел он уж было во Владимир съехать, как прилетел из Москвы Леонтий Стефанович Плещеев.

Застал «доверенное лицо» за обеденным столом. Петр Тихонович потчевал себя пустыми щами, квасом и солеными груздями.

– Поцусь! – объяснил он бедность стола Леонтию Стефановичу.

– Так ведь Великий пост, – согласился Плещеев, окунул ложку в щи, попробовал, поморщился и принялся уплетать грузди.

– Ты уж говори, зачем приехал! – взмолился Петр Тихонович. – Управляющий боярина Никиты Ивановича жаловаться в Москву усканал... А все ты!

Плещеев вытер платочком губы, пощупал бороду: не накапал ли.

– Накормишь как следует, расскажу, что тебя в Москве ждет, а на голодный желудок... и рассказ будет тощий.

– Эй! – крикнул покорно Траханиотов слугу. – Собери на стол гостю.

Плещеев, выдерживая характер, плотно поел, а потом вдруг и затопал ногами на родственника:

– Сидишь пень пнем! Спрятался! Пол-Суздаля перепортил и на грибах сидит!

Петр Тихонович побледнел:

– Кому же это? Как же это? Никому ведь не ведомо!

– Мне все ведомо! – засмеялся Плещеев. – Да очнись ты наконец. Сообрази, наше время пришло. Ты в штаны пускаешь от каждого бреха, а бояться ныне во всем Московском царстве нужно одного человека, родственничка твоего свет Бориса Ивановича. Никак ты не возьмешь себе в толк! Ты хоть и наполовину дело сделаешь, а врагов все равно наживешь, и уже нажил. Да только и друзей у тебя не будет. Обе, обе руки врагу секи! Пусть все боятся, а один любит. Любовь одного сильного стоит ненависти многих немощных.

– Что же делать-то мне, скажи? – взмолился Траханиотов. – Ведь самого патриарха нужно заирать, чтоб все-то дело устроить.

– Я же тебе толкую! – плюнул Плещеев под ноги и растер плевков каблуком. – За двумя зайцами погонишься – пропадешь. Петя, ты же самого Романова тронул! Чего теперь тебе бояться? Некуда отступать... И вот мой последний наказ: если через неделю ты доложишь в Москве: дело, мол, сделано, – быть тебе судьей приказа и окольничим. И боярство тебе забрезжит. Промедлишь – не помышляй о наградах. И родство тебе не поможет. Морозову нужны новые слуги, быстрые слуги.

Шестнадцатого марта Петр Тихонович Траханиотов доложил на приеме государю, что посады городов Владимира и Суздаля устроены. В Суздале взято у патриарха, архиепископа и монастырей и возвращено посаду сорок одно семейство, во Владимире – двести восемьдесят семь семейств.

Ближний боярин Борис Иванович Морозов, бывший на этом приеме у царя, зачитал письмо, присланное в Москву. Суздальцы просили, чтоб ведал их господин Траханиотов, потому что Петра Тихоновича они знают с младенчества, посулов и поминок он не емлет, а дела посадские делает вправду.

Государь допустил стольника к руке, а на следующей день, семнадцатого марта, Петр Тихонович Траханиотов за скорую и добрую службу был пожалован чином окольничего и получил в управление Пушкарский приказ.

Глава девятая

1

Наитайнейший боярин царя Михаила Федор Иванович Шереметев, смертельно уставший от недомогания, встречал гостей сидя, но каждому, кто подходил к нему поклониться, улыбался. Улыбка получалась отрешенной, словно у слепого, и все пришедшие получить у мудрого царедворца совет понимали, что зря пришли.

Ужас охватывал. Да тот ли это Федор Иванович?

Прежний-то поглядит, бывало, умным взором – тут и поймешь, что ты чурка нетесаная, пустота пустая. От одного погляда взмокал человек как мышь. Господи, Господи! И малые, и великие – все в твоей руке. Полгода не минуло, а Федор Иванович, краса Русского государства, по важности-то, по осанке – старикашечка, иссохший, ничего для себя не желающий, а значит, и для других бесполезный.

Приехали к Федору Ивановичу люди знаменитые, владыки прежнего царства: князя Черкасские, Дмитрий Мамстрюкович и Яков Куденетович; приехал Никита Иванович Романов, приехали Стрешневы: брат покойной царицы Евдокии, Семен Лукьянович, и оба Ивана, Большой и Меньшой; приехал Василий Петрович Шереметев, судья Разбойного приказа.

Бояре садились за стол, отвеदывали меды. Разговоры заводили вполголоса, как при покойнике.

– Морозов, Бориска-то, говорят, чародея завел. Тот думы потаенные угадывает! – запустил первую пробную стрелу Семен Лукьянович.

Собрались известно для чего. Ближайший боярин Морозов начал правление мягко, да за полгода прибрал к рукам всю власть. Хватка у нового правителя как у волкодава: если кого за горло возьмет, упирайся не упирайся, а до хрящика доберется и прижмет – пусть не до смерти, но и не до живу.

– Ему теперь ой как нужно знать чужие думки-то! Заступнику-то народному! – воскликнул Никита Иванович Романов и, тараща удивленно глаза, поглядел на каждого за столом. – У меня во Владимире земли отнял! Да что у меня – у патриарха! И ведь не себе взял – народу вернул. Благодетель.

– Благодетель! – поддакнул Василий Петрович Шереметев. – Теперь, почитай, вся Россия под кнутом извивается. Недоимки за все прошлое царствование взялись выколачивать.

– Про то не нам говорить. Про то пусть народ говорит, – блеснул мелкими длинными зубами Семен Лукьянович Стрешнев. – У тебя, Никита Иванович, да и у тебя, Яков Куденетович, дворы-то на Москве вон какие! Дворни-то у каждого по полтыщи человек! Вот пусть ходят по Москве и рассказывают о благодетеле, о свет Борисе Ивановиче, каков он есть на самом деле, и его чародея пусть в разговорах не забывают.

– Ох, Бориска, Бориска! – засмеялся Романов. – У него с братом Глебом земли больше, чем у меня, а все хапает. Выпросил у царя два села на Волге. А села-то какие! Богатющие, купеческие! Лысково да Мурашкино.

– Ах ты, Господи! Ах ты, Господи! – разохался Семен Лукьянович, словно кошелек с деньгами потерял.

– А что же князя Никиты Одоевского нет? – внятным сильным голосом спросил Федор Иванович.

Все вздрогнули. Почудился прежний Шереметев, наитайнейший.

– В Москве обещал быть, – сказал князь Яков Куденетович. – Забот у него много. Сегодня Большой полк уходит в Белгород, государь Никиту Ивановича воеводой поставил. Бориска против крымского хана сеть плетет, а заодно и князя Одоевского – с царских глаз долой.

– Сегодня, говоришь, полк уходит? А мне болтали, что он уже ушел, первого февраля еще!

– Стрельцы, верно, первого февраля ушли, а дворянское ополчение, как всегда, промешкало. Пока собрались, пока снарядились – сегодня уходят.

– Морозову передышка, дворяне-то крикливые стали. Зубки у них режутся.

Все воззрились на старика. Федор Иванович, задрав бороду, разглядывал на потолке синий зайчик: узорные у Шереметева были стекла в рамах.

– Пейте меды! Самое время меды пить! – пригласил хозяин. – Вам теперь только это и осталось.

– Федор Иванович! – взвился князь Яков Куденетович. – Не обижай нас! Ты ведь и сам не у дел.

– Мое время минуло, – улыбнулся Шереметев. – И ваше тоже минуло.

– Да мы еще и у кормила-то не были! – грянул князь Яков Куденетович.

– Благодарите Бога, что от кормушки не гонят... Бориска вон как за дела принялся! У патриарха земли забирает в посад! Построить посад – построить стены для нового дома, и не знаю, найдется ли в том доме место для теперешнего боярства.

– Федор Иванович! – взмолился Романов.

– Дай Бог, чтоб все так и устроилось, как я вам сказал. Великое было бы дело! Да только Бориска нашего корня. И жаден как волк. Так что вы его не бойтесь. Он будет хватать, пока не уронит... Но, помяните мое слово, ваше время ушло.

– Загадками говоришь, Федор Иванович! – Боярин Романов досадливо двинул по столу тяжелую серебряную братину. – Время, оно с ногами, что ли? Куда оно подевалось? Как жили, так и живем. Куда, спрашиваю, ушло время-то?

– В небытие.

Семен Лукьянович прильнул к ковшу, зыркнув глазками по боярам. Дмитрий Мамстрюкович сидел неподвижно, сложив руки на толстом животе, – он все время так сидел, как в Думе. Яков Куденетович дергал жилистой шеей, словно низанный жемчугом ворот златошитого кафтана обжигал. Романов сидел красный, тупо глядел на красные тяжелые руки, забытые на столе. Остальные глазами ели Федора Ивановича, и все молчали.

«Какую игру затевает премудрый старик? Да уж так ли он немощен? Голос как труба! – Мыслишки у Семена Лукьяновича взбухли, так лезет квашня из дежи. – Не стакнулся ли дедушка с Бориской? Глупость все! Глупость! Пуганый самого себя боится».

И опять побежал глазами по лицам бояр, от ковша не отрываясь.

«Кто к Бориске первым побежит пересказать сегодняшнее? Василий Петрович? Так он тоже Шереметев! Черкасские? Романов? Братья? Глупость все!»

– Фу! – сказал Семен Лукьянович, ставя на стол опустевший ковш. – Добрый мед у тебя, Федор Иванович. Да и правду ты говоришь, прошло наше время. Заведу себе соколиную охоту. Буду жить да поживать, в полях тешиться, как великий царь наш Алексей Михайлович.

Бояре молча поглядели на Стрешнева.

– Посады в городах если теперь не устроить, то и до бунта недолго, – сказал Василий Петрович Шереметев. – Народ измаялся. Немногие за многих воз тянут, а ведь и лошадь надо кормить, чтоб везла.

– Правда истинная! – закивал головой Дмитрий Мамстрюкович Черкасский.

«Господи! – подумал Федор Иванович. – До чего же ничтожны! Вот она у кого в руках, государыня Россия».

Дверь в палату открылась, порог переступил высокий молодой человек в дорогой шубе, поклонился.

– Отец велел сказать, что кланяется вам! – пролепетал вошедший. – Сам он не может быть. Вчера еще уехал.

– Кто ты? – спросил Федор Иванович.

– Князь Михаил Никитич Одоевский, сын Никиты Ивановича.

– Уехал отец-то, говоришь? – спросил Романов, поднимаясь из-за стола. – Раньше полка на войну уехал? – Захохотал.

– Отец уехал стоянки проверить. Войско большое, а на стоянках ничего для встречи не приготовлено.

– Твой отец – мудрый воевода, – сказал Федор Иванович. – Так и отпиши ему. Мол, Федор Иванович Шереметев поклон шлет и благодарит за службу царю и всему Русскому государству.

– Я отпишу.

Одоевский откланялся и вышел.

– Что вы все за люди? – выскочил из-за стола Яков Куденетович. – Нечего сказать – поговорили! Кланяюсь вам всем и тебе кланяюсь, мудрейший Федор Иванович.

– Верно, пора вам домой, – улыбнулся кротко наитайнейший. – Пора! Пирог уже, чай, к обеду приготовленные, стынут.

Бояре поднялись из-за стола, покрестились на иконы, и тут в дверь постучали, а постучав, открыли. Вошел поручик полка иноземного строя Андрей Лазорев.

– Нет ли среди вас боярина Василия Петровича Шереметева? – спросил поручик.

– Я Василий Петрович, – сказал Шереметев, тревожно поглядывая на бояр.
– Вот тебе указ великого государя. Ехать тебе, боярин, в Большой полк товарищем боярина Никиты Ивановича Одоевского.
– Поди-ка меду выпей! – пригласил поручика Федор Иванович Шереметев.
– Это мы с охотой! – Лазорев подошел к столу, поискал пустую чару, налил меду, выпил. –
Добрый мед! Благодарствую.
Поклонился, повернулся и вышел. Бояре молча глядели на закрывшуюся дверь.

2

Борис Иванович Морозов, прижимая ладони к груди, стоял возле своего приказного стола. Кротко улыбаясь, склонил голову набок. Перед ним судья Пушкарского приказа окольничий Петр Тихонович Траханиотов клал поклоны – поклон за поклоном.

На двадцать восьмом поклоне отворилась дверь, и в комнату вошел, но тотчас, при виде кланяющегося человека, остановился Глеб Иванович, младший брат Бориса Ивановича.

– Глебушка! – всплеснул руками Борис Иванович и кинулся поднимать с полу Траханиотова. – Петр Тихонович, спасибо тебе, дружок! Верю тебе, люблю тебя! Глебушка прибыл. Глеб Иванович!

Старший Морозов подбежал к Глебу, обнял, поцеловал.

– Соскучился по тебе! – И шепнул: – Ведь один я тут без тебя. Совсем один.

– Позволь и тебя приветствовать, боярин Глеб Иванович, как великого человека и как брата света нашего Бориса Ивановича.

Петр Тихонович истово пал на колени и положил первый поклон.

– Спасибо тебе, Петр Тихонович! – сказал Глеб Иванович. – Позволь и мне тебе поклониться.

– Смилуйся! Сначала я! И, как брату твоему старшему, на радость встречи, положу тебе тридцать поклонов.

Братья смотрели, как дородный, осанистый человек встает и падает перед ними на колени, тянется бородой к их сафьяновым сапогам.

– Каждый день кланяться ездит, – сообщил Борис Иванович. – Государю добро послужил, а государь расщедрился и в окольничие его произвел, в судьи Пушкарского приказа поставил.

– Я... знаю, Петр... Тихонович верный и добрый слуга царю! – отирая слезы, выговорил со всхлипами Глеб Иванович: тоже растрогался.

– Пошел я, – сказал Петр Тихонович, отсчитав тридцать поклонов.

– Пушки все поставил Одоевскому? – спросил Борис Иванович.

– Благодетель мой, да как же не все! Ты мне доверяешь, я стараюсь: две пушки сверх запрошенного Большому полку поставили.

– Спасибо. Доложу государю, что стараешься. Только молю тебя, Петр Тихонович, больше не приезжай на поклоны... Хочешь постараться для меня, так лучше казну в приказе держи так, чтоб не скудела.

– Все исполню, светы мои! – Петр Тихонович поцеловал руки у братьев и удалился.

Братья сели друг против друга.

– Лицо-то у тебя хорошее какое! – улыбаясь, сказал Борис. – Румянец как у молодого. И седины-то поубавилось. Чуть-чуть вон в бороде. И глаза молодые.

– Спасибо, брат! – Глеб опустил глаза, попридержал неожиданный вздох.

– Что? Не понравился я тебе?

– Не понравился. Серый, седой. Да кто ж тебя так измучил-то?.. Боря, да плюнь ты на все это. Что, у нас земли мало, работников мало? Чего у нас мало?

– Ох, не надо, Глеб! Кто пригубил из ковша, на котором начертано «власть», тот человек пропащий. От вина можно отстать и о женщинах можно забыть, не забудешь сам – старость поможет, а от жажды властвовать даже смертный одр не защитит. Ты меня не осуждай, брат. Я же тебя не осуждаю, что в мой решительный час ты уехал в дальний монастырь от земной суеты прочь. Хочешь приказ? Любой приказ тебе отдам. Не хочешь... А это значит, что я добавлю к своей серости и к своим сединам, потому что придется взять в руки еще один приказ, да один ли?... Эх, Глебушка! Если я и захочу все бросить, так такие, как Петр Тихонович, не позволят. Они к власти пришли, к делу, к богатству, к царю в дом. Через меня пришли. Я – за дверь, а их – метлой. В тот же миг, как я ногу над порогом занесу, уходя. Кто на мое место глядит, известно. Эти не дадут нам дожить спокойно. Да ведь и в силе я, Глебушка. Разгребу старые конюшни – мне и полегчает. А ты мне все ж помоги. Будь при государе, пока я при делах. Алеша к людям прилипчивый. Как бы не проглядеть кого... Вот с кого глаз не спускай! С Никона, архимандрита Новоспасского монастыря. Настырный детина. Алеша ему уже в рот глядит. – Борис Иванович всплеснул руками. – Все говорю и говорю. Расскажи, как помолился, как в Кириллове. Хорошо ведь там. Небо, свинцовая вода, простор суровый, дивный.

– Там хорошо, – сказал Глеб. – Пост держал. Со схимником говорил. Затворился один в пещере, простой мужик, а ума на всю Думу государеву хватило бы.

– Я того и хочу! – воскликнул Борис Иванович. – Кто Россией правил испокон веку? Родовитейшие. А что им, Рюриковичам, от рода их высокого перепало-то? Весь ум в веках порастрясли, ну а дури накопили – матушки! И такая дурь и сякая, большая и великая, малая и манюсенькая. Править царством должны люди, к правлению способные. Ты ведь подумай, сколько всего нужно мыслью объять!

И, словно подтверждая слова правителя, кланяясь, появились в дверях думный дьяк Назарий Чистый, а с ним думный дворянин Ждан Кондырев.

– Пойду я, – сказал Глеб Иванович. – Вечером к тебе приеду.

– Нет, Глеб Иванович, послушай. Ты в Думе сидишь, а от дел поотстал.

Щегольнуть хотелось перед братом.

Задумал Борис Иванович покончить с крымскими разбойниками. Большой полк ушел под Белгород и Ливны. В Астрахань поехал воевода Семен Пожарский. В Воронеж посылал Борис Иванович Кондырева, наказ ему был сказан строго и четко:

– Великий государь Алексей Михайлович повелел тебе... – Борис Иванович, произнося имя царя, встал, – повелел тебе набрать три тысячи войска из охочих вольных людей. С этими людьми, как придет грамота государя, пойдешь на Крым помогать воеводе Пожарскому. Денег тебе государь дает пятнадцать тысяч рублей серебром. Припасы и оружие для войска получишь у воронежского воеводы. Каждому поверстанному выдашь по пять рублей. В помощь тебе, в товарищи, государь дает поручика Лазорева. Да только как наберете хотя бы и полвойска, ты его отпусти. Пойдет он в Царьград проводить, что замышляет турецкий султан Ибрагим.

– Кланяюсь тебе, ближний боярин Борис Иванович, – прогудел могучий Ждан Кондырев. – Надоумь меня, безмозглого, – не мало ли будет трех тысяч против крымского хана?

– Хвалю! – воскликнул Борис Иванович и поглядел, довольный, на брата: вот, мол, какие умные люди служат у меня. – Пожарский с терским войском, с астраханскими стрельцами и с донскими казаками пойдет на Крым со стороны Азова, из Воронежа пойдешь ты, со стороны Днепра пойдет войско польского короля, а за спиной у тебя, Ждан Кондырев, будет стоять Большой полк князя Одоевского. А еще государь посылает целое войско плотников, строить города против крымской и турецкой напасти. Конец приходит крымскому царю. Ему одно и остается – бежать к Ибрагиму-султану. Да побежит-то он один, гнездо его волчье мы разорим, а волчат каких передущим, а каких разведем по земле... А где же Лазорев? – спросил Борис Иванович у Назария Чистого.

Думный дьяк удивленно оглядел комнату, словно бы поручик Лазорев был, но куда-то вдруг запропастился.

3

А с поручиком Лазоревым случилось происшествие. Ехал он в приказ верхом ко времени, и всей дороги осталось ему с четверть версты. На улице было тесно, люди с поздней обедни из церкви возвращались, да так тесно, хоть слезь с коня да под уздцы веди. И тут вдруг гик, крик. Какой-то молодец навстречу мчится, конный. Люди шарахнулись в стороны, а старушка бедная туда кинулась, сюда – да и оскользнулась. Затаптал конем старушку лихоимец. И не оглянулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.